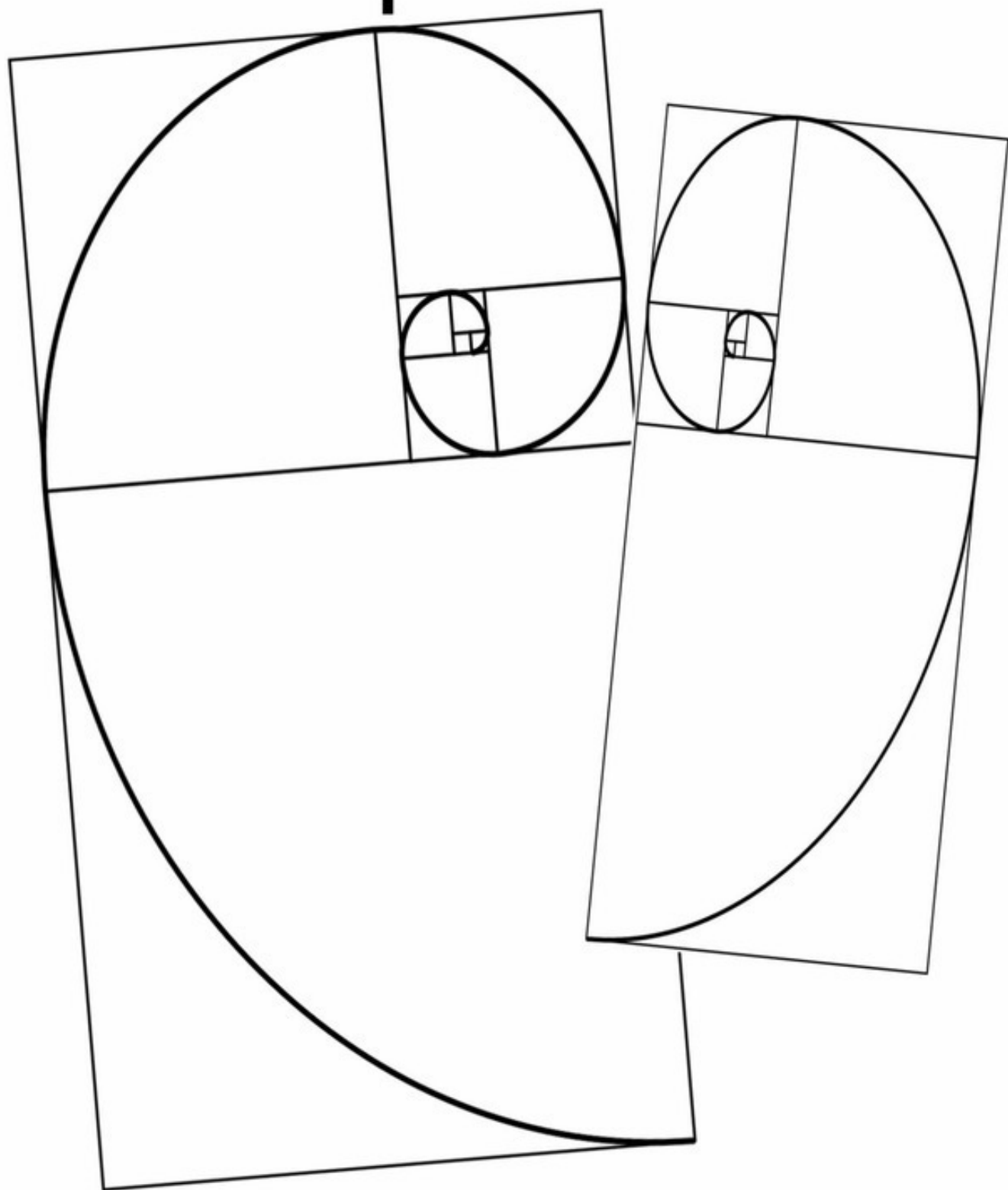


Л. Воробейчук



НЕСОВЕРШЕННЫЕ

Л. Воробейчик
Несовершенные

«Издательские решения»

Воробейчик Л.

Несовершенные / Л. Воробейчик — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-850586-7

Жизнь отчего-то обречена на несовершенство. Присмотритесь — оно всюду: в жизни отца-одиночки, в подростках, живущих ненавистью, в несбыточных надеждах, в первой, самой разрушительной, любви. И даже в макаронах, боги, в подгоревших до черной корки макаронах...

ISBN 978-5-44-850586-7

© Воробейчик Л.
© Издательские решения

Содержание

1	6
2	14
3	31
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Несовершенные

Л. Воробейчик

Дизайнер обложки Павел Сергеевич Калюжин

© Л. Воробейчик, 2017

© Павел Сергеевич Калюжин, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4485-0586-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

Это был один из тех летних дней, которые я целиком практически не помню, из тех, где хоть какое-то значение представляют только лишь полчаса ночи.

Я говорил, она тоже говорила, много было у нас всякого звука, возникающего из наших ртов и нас же им заволакивающих. У нас вообще было много всяких штук, порождаемых ртом, вроде слова «нет» и извечного вопроса – «почему», а еще было плохое дыхание. Почему такое? Да потому что мы причиняли друг другу боль именно словами, ну и следовательно запахом этих слов, ну а еще у нас с ней были всякие жидкости вроде слюны, которая иногда капала на простыни. Мы, конечно, меняли их, словно бы это могло помочь простыням быть нетронутыми. Наивные – мы тут же мяли их телами, пачкали слюной и пошлостью своего существования в данном месте и данном времени, в непосредственной близости, в сути наших отношений и существования вообще. Так что простыня была лишь маленьким следствием несовершенства нашей голой тесноты и всего такого. Остальные следствия требовали дальнейшего анализа, ну а мне, в силу возраста, о таких далеких вещах думать уже, по-хорошему, некогда. Но что поделать – думать приходится...

Хуже всего было со ртом, порождающим всякие явления вроде слюны и слов, и это было опаснее прочего, хотя я, конечно, преувеличиваю: я вовсе забываю о зубах, которыми можно даже прокусить тонкую кожу и явить миру алую и багровую кровь (следовательно, не так уж слова и опасны), но мы не кусали – мы рвали друг друга только вопросами и грустными фразами. Возраст такой, наверное. Но мы не думали и об этом тоже.

Нет, мы вовсе об этом не думали, нет, нет, мы совсем ни о чем не думали, а наши языки были склизкими щупальцами осьминога и еще червоточиной; слюна капала, капали слова, а где падали, там прожигали простыни. Мы спорили о будущем, понимая, что мы и будущее – дело вовсе фантастическое. В общем, наша дряблость, слюна, слова, простыни. Все это – мы, и это только несовершенство наших ртов; вообще, конечно, сильно слово это ко мне припечаталось, что и говорить. «Несовершенство». Даже и говорить-то нечего, но говорю: наверное, всегда так было, что не было с основания мира чего-то по-настоящему чистого и правильного, во всем всегда были и углы и изъяны; так что неудивительно, что и мы герои полотен постимпрессии – одни изъяны да углы, да причем такие неудачные, что паз в паз, ребро в ребро и, следовательно, созданы друг для друга. Чтобы спорить и ругаться, да еще и отравлять жизни. Такая ночь, какую и запоминать-то тошно. Но лучше запоминать новое, чем возвращаться к старому – говорю как человек, что ненавидит и одно, и другое.

Стариковы мысли... везде смогу преувеличить. Везде эту травлю вижу, яд этот растекающийся. Казалось бы – разговоры как разговоры, жизнь как жизнь, несовершенны – да и боги с ним. Это же маленькое дело, рты наши, слова, ругань – ведь куда мы сами неидеальны, где бы взяться взаимопониманию? Как может понять злодей злодея, а слепой – другого слепца? Так и мы. Верхушки айсберга не существует этой летней и душной ночью, ибо верхушка – это абсолют, маленькая идеальная точка размером с клопа, вниз уходящая какой-угодно неровностью. Пусть хоть углами изойдет – верхушка-то идеальна. Но вот до нее нам еще карабкаться и ползти, и не то, чтобы я не хотел или же она не хотела, ну, просто мы не подходим для скалолазания и друг друга из-за своих ртов (если начинать с самого заметного) и всего остального, хотя по отдельности друг другу подобны, хоть зеркало ставь. В общем, все же изначально мысль была правильна. Рыба с головы тухнет, мы – со ртов. Поэтому и поступков каких-то, высоты в плане чувственности, благосклонности и планирования вообще ждать не приходится. Нам, говоря проще, не по пути – и не по моей вине. Я понимаю, ну а она – нет. Просто кто-то ждет слишком много и не видит всей картины целиком. И плачет.

Когда мы плачем (она плачет), мы впадаем в банальности, приравнивая их к следствию наших чувств, но на самом деле приравнивать их стоило бы к чему еще. Это просто различные синдромы других следствий, не более. Или она это дело любит просто?

Я ударял по стене в иступлении – плакала, я гладил – плакала, она плакала по любому поводу: чай, моя мужская слабость, гляди-ка, как падают листья, я расскажу о товарняке, что едет в никуда, как и мы идем в никуда, слышишь?..слишком тихо шепчутся, твой сын смотрит на меня как на чужую, я – не та, чувствую себя моложе, ты – не тот, прекрасная музыка, все кругом прекрасное, но только давай опять поговорим о будущем, а я спорю, мол, нет, несовершенное и говорить не будем, и вот тут слово за слово, и слезы ради слез, и молимся вместе разным богам и, нет-нет, Боже, ты уверен, что дело не в тебе, сходи к врачу, Коленька. Плакала из-за утраченных возможностей. Из-за Сашка плакала, губы поджимала. Предлагала все оставить как есть и начать заново, почти с нуля. Она так сильно обижается: говорит, что я, кажется, совсем не нужна тебе, Коля. А я не могу ей сказать, что, в общем-то, мне безразлично – некрасиво говорить такое женщине в твоей кровати. Что есть лишь вещи из тех, что я не хочу – а вот вещей, которые я хочу, почти не осталось. Те же, что остались – ну, фантастика, книжные полки целые, космические приключения надежд Николая. Главный герой – Сашок, шестнадцатилетний ребенок от чужой женщины. Композиция: печальная. Финал – более чем открытый.

Она просто не понимает, а знает свою версию – и только. Для нее все вытекает одно из другого, из ее маленькой правды, как орнамент на улице из жухлых листьев, как будто бы это всё обязано быть просто-запросто. И потому мы и есть слезы, падающие звездами, слезы ради слез, ибо железы застоялись, а трубочист внутри них бьет и бьет, вот тебе объяснение, а под них уже и повод любой подгоняется. Синдром завышенных ожиданий, да моих молчаливых обещаний. У нас что ни день или ночь – то попытки, вечно пытаемся, а чего, не понимаю уже. Видимо, только плакать и пытаемся. Только это и выходит.

Вообще, ночью поэтично все как-то. Даже иногда думаю, что как-то со стороны это смотрится интересно.

– Знаешь, – в сердцах говорит мне она. – такую жизнь-то и не выразишь никак иначе, Коля! Омерзение во всем.

Конечно, отвечаю, тут по-французски и не скажешь. Язык не тот, быт не тот. Как Сашок говорит, «житуха» не та. Мы, конечно, попытаться можем... по-французски? Да выбирай любой язык, дорогая Инга, твои слова или мои не станут мягче или легче от смены фраз. Хрен че поменяется, дорогая Инга. Наши тела-доски подгоняются стык в стык, паз в паз, а слова попадают изо рта в рот даже набором элементарных фонем, пусть хоть пролаянных, и неизменно это вызывают – в этом ли, в другом ли, но наша отягощенность друг другом, что порождает слезы, может даже быть выражена по-кошачьи, зачем рвать лапы лягушкам ради того, что неминуемо, что породит наше непонимание, нашу новую войну за будущее, а? Хотя, казалось бы... слезы, прямое продолжение наших отвратительных ртов. В этом городе, банально до крайности, в оранжево-бежевом августовском времени нам плевать и на город, и на ночной холод, только одеяло, нестиранные заслезенные простыни, да мы; плачет по поводу и без – о каком-то утверждает будущем, хочет наследника. Несовершенно, что и сказать, хоть и вполне обычно.

Устал я, кряхтя размышляю: вот стены – у стен нет изъянов, махонькие бабочки, залетающие с улицы, что не умирают, садятся зачем-то на шторы и смотрят на нас немигающе; как и я на них. Перевожу тему, говорю, мол, они великолепны.

– То есть? То есть, Коля? – взрывается она. – Какие бабочки? Не слышишь меня, да, как всегда? Я говорю: поговори с ним, я не могу так... Мне другого нужно, а ты, – глаза дрожат, руки заламываются. – а ты все... Все никак. Коля! Какие бабочки? Я о нас, а ты о... что, нечего сказать? Сказать тебе, Коля, нечего?!

Ночь. Хорошо, что Сашок не дома, гуляет, не слышит этого. Не смотрит на нее с яростью как всегда.

– Ну а что еще сказать. – устало вздыхаю. – Нечего.

И правда – говорить нечего. Это же мы. Мы пили, но не пьянели – много пили. Сегодня, например, вино, отдающее кислым запахом, я окрестил его запахом нашего обоюдного страдания, пока она крестилась двумя пальцами и молилась, чтобы в этот раз точно получилось; сильно-то она наследника хочет. Говорили потом, но звука не слетало. Жили, но как бы не этой жизнью, я – прошлой, она – невозможной. Скоро уж третий месяц пойдет этого бытья-жизья. Зачем, правда, не знаю. Даже устаю от себя – такого.

Так со стороны посмотреть – забавно даже. Какой-то ореол романтичности, книжное нагромождение – пласт за пластом, проблема на проблеме; старики, курящие, пьющие, спорящие ни о чем и ругающиеся, ругающиеся... Задумываюсь еще: как бы я описал себя или ее в контексте всего этого?

Вот она посмотрела. До мурашек аж. Описать этот взгляд не выходит; не воссоздать человека набором слов, каким бы словарным запасом не обладал, какой бы фантазией не обладал слушающий, нет-нет, просто как объяснить взгляд набором буковок, словишек, фразочек? Вот сидит она, печальная, но разъяренная и смотрит – и я, даже закрыв глаза, не смогу это повторить хотя бы в своем воображении, что уж тогда эти самые слова. Слов не хватает в принципе, хотя жизненный опыт, да и читательский опыт, да и бытовой. А ведь это, ну, наша августовская ночь – обычная литературщина, проблема из ничего. Должны слова сами браться. Как в книжках, читано-перечитано. Чтобы одно слово – и метко, в цель. И поняла она сразу. И отстала наконец...

Или вот я. В таких ситуациях говорят или же пишут: сердце остановилось или пошло быстрее. А это фарс, глупая комедия: мне плевать и всегда плевать было на это самое сердце с того самого раза, разве за ним следишь, когда на тебя смотрят таким взглядом?

«Он прожигает насквозь, взгляд этот»... ни черта он не прожигает, взгляд как взгляд, его не обзовешь даже никак. Он бесконкретен, в нем нет даже намек на чувство, он абсолютно оторван от нее, как бы вне нее; взгляд – эта, как ее, парцелляция, только от мира взглядов и людей; о лошадях и людях, о временах и нравах, о политических трактах, о силе незнакомого интернета, о моей рыбьей принадлежности (плаваю да плаваю в прошлом, удильщик херов), о можжевельных кустах и о волосиках на губах повзрослевших мальчишек – словом, о всей той жизни, что я знаю и раньше знал, и что нельзя уложить ни в один из списков. Жизнь – она и есть жизнь, а этот взгляд – да даже магия фотографии передать его неспособна. Чего уж там слова... Она как будто что-то решила. Взгляд затравленной Инги, какая мне не знакома никак.

Мне, в общем, не выйдет даже приблизительно его описать, да и незачем, достаточно решить, как на него ответить. Словарь закончится, прежде чем из двадцати тысяч слов я выберу нужное, это, как его, со-вершен-ное. Такое как раз нужно, а раз попытка моя заведомо обречена на провал, что же, тут уже можно и языки посмешивать, и на французский перейти, и жидкости в наших ртах и слезных железах, и все это вместе. Спать можно отправится, чтобы опять проснуться и все как всегда. Все равно завтра будем ругаться, наверное, или же нет, кто разберет – разве лишь время рассудит. Но взгляд у нее выходит, конечно, мощный, когда говорю, что сказать мне больше нечего.

Выдавливает:

– Ну, что же. Раз нечего, то нечего. – и вновь на меня ядом слов. Боги, как это утомляет! И перед таким важным (если захотеть) днем.

На минуту все сжимается – и это не литературный прием, там, сзади, я правда сжимаюсь, словно бы в меня пытаются силой проникнуть; хочет войти в меня мнимое и придуманное несовершенство ситуации. Почему – не знаю. Но фраза нравится. Хлопает дверь – пришел Сашок, и я иду его встречать в одних трусах и с глупой улыбкой. Чуть не вприпрыжку.

Не с ней же все спорить и спорить, ну. Завтра, как-никак, день тяжелый. На новую работу, как-никак.

Проснулся я как всегда рано – в шесть с малым. Слышу – папка хлопчет, поглядел – выбритый, пахнувший. На работу ему новую; старается, че, впечатление и все в этом духе. Ингой даже и не пахнет.

– Доброе. А чего без мамашки Инги?

– Сашок, не надо ее так называть, – кричит он, пока плита шипит и плюется. – вы с ней разминулись. Ушла она минут десять назад, говорит дела срочные. Доброе, завтрак – пять минут.

Но я-то сразу смекнул в чем дело. Папка на то и папка, чтобы загадками говорить. Ни слова о письмеце на комод – всякое может быть; может, и правда не видел. Ну, решаю, значит и не увидит. Припрятал его – и за зарядку взялся. Подходы, отжимания с хлопками, мешок. Надо бы, по-хорошему, поспать еще было бы – в школу послезавтра, и опять по новой. Ночи-то нынче такие, долгие, пацаны, движи. Сна хер хватает.

Но че сожалеть-то, раз уж встал, привычка. Кухня шипит. День вроде как насыщенный быть должен и солнечный. Мамашка в письме написала:

«А я и не знаю, как начать, столько думала, и вот. Одна и с письмом, пишу его тебе вот, а по лицу слезы. Ну не глупо? Даже в некоторой степени отвратительно, и я себе отвратительна, и вообще, знаешь. Все это. Не могу.

Я не то, что бы разочаровалась в тебе, Коль, вовсе нет, просто меня пугают наши перспективы. Ты не хочешь идти дальше, а я уже тяну локомотив. Твой сын... это твой сын. Он меня пугает. Я не смогу с ним дальше – вижу по его злому взгляду, Коля... а я любви хочу. Матерью хочу стать, понимаешь? А с ним у нас не выйдет. А новых ты не хочешь...

Я письмо это укоротила, много повыбрасывала. Сам же коришь за книжность моего стиля, будто бы это что-то плохое. Но я, кажется, сказала все. Не вернусь, не ищи. И да, я плачу, не думай, что веселюсь, с любовью,

твоя Инга.»

Ухмыляюсь – и эта из-за меня свалила. Идиотка. Как будто по нему не видно – все равно ему; что он-то искать не будет. Опыт же не пропьешь, хоть он и старается. Но эта мамашка вроде бы одна из самых долгих – почти все лето с нами. Не выдержу думал, скажу ей че, но ничего, хотя собачились частенько. Я от него даже как бы и не ожидал – они же все реже и реже в нашей квартире-то появлялись, мамашки-то, возраст такой, наверное.

А так – красава он, конечно, хоть и мне наперекор, знает же – ненавижу их всех. Правда, че воздух трясти, письмецо теперь; вроде бы и порадоваться надо, да нечему. Как мужик он ее использовал по назначению, свои потребности осуществлял-то. Ему нужно – уж чего-чего, а это за свои шестнадцать просек. Так что красава он. Только вот неработающая она, но питающаяся тем, что нам на двоих. Так что папка, в общем, умный, но съехавший, с каждым днем все сильнее и сильнее.

Вообще с ним вроде все так – помешательство у него небольшое, даже незаметное почти. Взгляд только замутненный, но оно и понятно – прошлое на то и прошлое. Раньше малой был – не понимал, теперь вроде немного больше ясности-то. Папка, папка: на кухне и пахнет, на работу новую, чтобы его опять уволили оттуда через месяц-другой. Беспредельщик потому что папка, но не как старшие с района, а дурашливый такой беспредельщик, маленький: ищет, чего бы потырить да загнать, о честном заработке давно уже речи нет. Вроде как плохо по-

общественному. А вроде – для семьи. Ну, это он так говорит, мне-то, по большому счету, все равно. Меня больше волнует моя маленькая война, если быть честным.

А папка-то... ну, с ума иногда сходит. Обычно – как мамашка очередная сваливает, в основном от меня, с ним все сразу понятно. Прихожу домой однажды, а он сидит на полу, а кругом – посуда разбитая.

– Ушла чтоль? – интересуюсь.

– Ушла. – кивает он. Всхлипывает. Бил стаканы. Граненые кусочки по всему ковру.

– Кружка хоть одна осталась? – спрашиваю, на пол гляданув. – Чай-то надо утром пить.

И, в общем, два месяца одна кружка на двоих и была-то. Бывает с ним такое после ухода очередной мамашки; привыкшие. То в стену пялит, то бьет по стенам, то пьет – либо один, либо с дядей Костиком. Тогда я вообще домой не особенно заходить люблю. Они же... не знаю даже. Вспоминают одно и то же, ну а меня – «жизни учат». Себя бы поучили. Я и так ученый.

Вот, май был или конец апреля – захожу в квартиру: надымлено, музыка неприятная, мат, гогот. Влияние не мамашкинское – дядь Костино. По малолеткам, помню, находиться с ним страшно даже было как-то, ну а теперь – не так. Ну как страшно. Слегка боязно, что ли. Страха я не испытывал давненько уже, папка хорошо отучил; я с эмоциями в последнее время вообще не особо связан. А раньше чуть не дрожал, когда меня напротив на табурет сажали и заставляли в красные глаза водочные глядеть. И отвечать правильно чтобы, а не то мат-перемат, и папка так глянет, что все сжимается. И смех их. И разочарование...

– Ладно, Саша... – печально говорил папка в такие разы. – давай-ка к себе. А мы тут... сами.

– Да-а-а, – уже из-за двери слышал я. – воспитал сыночка...

И было обидно, даже ребенком. Да, наверное, у каждого есть такой хороший друг, такой вот дядя Костя – рядом с которым ты как бы сам не свой. Когда такой вот дядя рядом, тебя и семья не понимает, и окружающим мерзко, и храбришься, выделяешься как не знаю кто.

С тех пор громких попок не было. Выпьет тихо, да спать ляжет, мне не мешает. Если мамашка какая, то вообще крепкого не пьет и дядю Костю совсем к квартире не подпускает. Дружбы я такой не понимаю. Так о чем я... А, ну да. Попок не было давно, но сегодня, чую, будет – как поймет, что Инга тю-тю, свинтила. Хотя может и нет – работа, как-никак, дело такое, искать ее папке сложновато с каждым новым разом. Кризис, говорят, безработица и дефицит. А папка всё про падение нравов...

После завтрака – пробежка. На часах начало восьмого, конец августа, многие еще спят. Конечно, бегать после еды тяжеловато. Но в этом суть моей привычки. Каждое утро – в шесть, начало седьмого. Два подхода, отжимания, подтягивания. Завтрак – молчание вместе с папкой. И потом пробежка. Обычно все мои пацаны еще спят. Враги – тоже. И я чувствую себя как-то по-другому, что ли, ну, когда вот так бегу после еды, хоть живот и подкручивает; много наблюдаю. Вижу некоторые интересные вещи. Бегу, несмотря на запреты врачей (какой ж дурак после еды-то бегать будет), потому что я Саня, Саня Гайсанов. Сам потому что знаю все, папке поклон, че уж.

Что мне готовит этот день? Все как всегда; пробежусь, устану, помоюсь, пойду к реке. Уверен, все соберутся уже. Обсудим наши планы, разработаем очередную стратегию наступления и преимущества. Обсудим последние новости. Позачеркиваем дни до освобождения Димана Тувина. Пойдем на Туза, если пацаны отошли уже от того раза – внезапно пойдем, резко пойдем, ударим, когда не ждет. Закурим и, счастливые, купаться побежим. На речке будем в парах стоять, тренироваться; жаль, зал закрыли почему-то. Целый день проведем в поисках нового смысла на весь день. Не будем думать о всяких дуростях типа политики и любви. Вечером, может, Казак достанет вина и тогда... У ночного огня мы будем провожать август, такой же, как и июль с июнем, как и все лето, ничего не давшее нам. Загудим. А потом прижмем Туза,

обязательно. А про учебу, которая начнется уже через пару дней, не скажем ни слова – лишь плюнем да разотрем.

Да, мне многое безразлично – но это, кажется, все еще греет меня изнутри.

Бегу, в общем. Кроссовки прохудились, я в них второй год. Нога уже выросла, но чего поделать – приходится бегать в чем есть. Несмотря ни на что потому что. Бегу, в общем, и смотрю на мой район, кружу, тяжело вдыхаю и выдыхаю. Дыхалка посажена – сигареты все, трудно стало. В животе тянет. Серые дома встречают меня своими тайнами – по улице Правды дом пятый и дом седьмой, а через квартал – улица Бажова, где живет Паша Тумблер, ну а там дальше – поселок Солнечный, где Сизовы, откуда однажды тащили меня, с кровью на щеках и без сознания...

Бегу по этим грязным, неухоженным улицам и думаю, все о папке думаю. О себе чуть-чуть и о вечере – я-то со своими буду, ну а он – он. Будет кричать что есть мочи и опять что-то ломать или бить. Один или позовет друга, ну а может и мамашку новую с горя – не знаю я. И жалко его даже совсем немного. Но в то же время и нет. Папка он на то и папка. Отношения у нас с ним, скажем попросту, своеобразные.

Наверное, это ненормально, ну, когда у пацана детства нет совсем. Но не как в книжках про беспризорников, я-то как раз в семье был, просто этой семьи как бы не было. Папка ж не воспитатель. Сколько себя помню – делай, Сашок, чего хочешь, получай, чего хочешь. Мы даже не сказать чтобы друг другу отец с сыном. Скорее два несчастных друга, нам друг на друга плевать, так, спросим иногда что-то друг у друга, да и все. Говорит иногда:

– Ты не такой, Сашок. Ты другим быть должен.

– Каким?

– Другим. – стоит он на своем.

А я, типа, угадать должен. Ну а кому это надо? Мне что ли? Живу и живу. Учусь пока. Воюю. Не знаю, чего он от меня хотел или хочет. Говорит, сердце ему разбил, все его мечты похерил. Как правда – не совсем понимаю; но это наверное дела прошлого, те самые, не отойдет никак. Живем, короче, просто соседями под одной крышей, денег он мне дает и готовит еще. Ну а я взамен комнату убираю, закрываю глаза на мамашек да на дядю Костю. Вот же, вспомнился; правда сегодня зайвится, как обычно. Будет как всегда. В крайний раз было:

– Санек, Санек, иди сюда, – он пьяно шевелит рукой. – сядь да поговорим, я тебя научу.

– Чему?

– Да иди сюда, чего стоишь, ну же. – он выдвигает табуретку и ставит рядом с собой. – Вон, Николай, батя твой, совсем стух, видишь, грустит твой батя, да и мне скучно. Буду жизни тебя учить... Чтобы пацаном, Саня, быть, нормальным...

Молча глядел на него тогда. Без тени эмоций каких. Учить он собрался пацаном быть...

– Может, в другой раз? – спрашиваю. – Мне уроки еще надо.

– Знаю я ваши уроки! Короче, слушай. Вот стоишь ты возле врага, а он умоляет...

Ну и все в таком духе. Моральные выборы и загадки про стулья – вот все его жизненные уроки. А потом начинаются истории, слышанные по сотне раз. Про молодость ихнюю, юность, про амбиции. Папка-то, мол, в молодости не таким был – громким, ярким, взгляд горел. А Костик-то, мол, на гитаре играл и однажды двух девочек разом, а потом они баловались кое-с-чем, что теперь так просто не достать, а еще они хоронили своих пацанов, а еще однажды украли столько, что можно было купить автомобиль и они пропили все это за ночь, и как папка познакомил Костика с его женой и все такое. Скука, короче. Сидит вот такой вот учитель, пьяный, передо мной, шестнадцатилетним – и учит жизни. Не смешно? Бессмысленное прошлое, когда вот так вот вспоминается. Да и настоящее тоже. Да и будущее тоже.

Не только их. Вообще все. Значения мало что вообще представляет, я вот чего понял. Война разве что моя – да и та когда-нибудь кончится...

Бегу, начинаю уставать. В моем спальном районе совсем нет незнакомых мне мест. Каждая улица говорит о чем-то своем, рассказывает свою историю. Каждая улица ближе мне, чем та стена, в которую я носом утыкаюсь, когда засыпаю. Это нормально. Дом мне не дом. Мне улица – дом, че уж тут подделаешь. Папкина ли тут вина? Не знаю. Вообще сложно в шестнадцать рассуждать о таких вещах. Да и не рассуждаю я обычно. Вечер просто будет у него тяжелым, опять он в житуху с головой нырнет.

Да уж, житуха... старый он, несчастный. Иногда очень глупый бывает – не в словах, а в делах. Работы меняет, занимает у дядь Костика, пропивает много и прокуривает, что-то постоянно тащит и, в общем, как-то крутится. Но на мамашек и водку хватает всегда. Не сдается – горе свое знает как утешить. Маленький он стал, папка-то. Раньше больше был, хотя может я помоложе был – не знаю; теперь как вешалка какая в шкафу незаметная, а раньше вроде как сам шкаф был. Одним днем живет, да и то больше не днем, а вечером. Читал раньше много – книг на половину квартиры. Читал мне много, а потом заставлял самому читать. Жаль, детских книг обычно не было.

Нахватался-то я, от папки-то. Он забыл, что детям нужно читать детские книги, а он на тебе – и свой треклятый сюрреализм. В то время, пока мои ровесники пускали слюни от сказок, я, ни хера не понимая, познавал трагедию в лучших ее видах, ну, и все такое. Наверное, это-то меня и испортило, по его мнению, ну, а может это гены или наследственность – да, так как-то. Но он, правда, умный, иногда так завернет, что аж интересно. Ну, как интересно – раньше часами его слушал, а он иногда говорил вещи, от которых пересыхало в горле, а иногда – не пересыхало; нёс несусветную чушь.

– Ты – крыло бабочки, – серьезно и без тени улыбки говорил он. – Тонкое, незаметное.

– Я не понимаю. – честно не понимал я.

– Крыло, лист, пятно столе, Саш, ты – все это, – понятное только ему говорил он мне. – Ты – это все, что ты можешь ощутить, прочувствовать, все, что может сломаться у тебя в руке. Абсолютно все. От малейшего ветерка по твоей коже проносятся еле ощутимые вибрации – так ты реагируешь на мир, и так ты его меняешь, своей вибрацией.

– Значит, я – это абсолютно все? – я не понял и половины слов.

– Абсолютно.

– Я – все? Это глупо, пап.

– Как и все вокруг.

Я не унимался, в то время я был любознательным.

– Я не понимаю, как человек может быть абсолютно всем. Ты объясняешь глупо.

– Ты не поймешь иначе! – вскинул он руки и выдавил некое подобие улыбки. – Человек – это все, что он может увидеть, потрогать, понюхать. Все, что он может создать. Все слова, что он говорит, слова, которыми он меняет этот мир, а следовательно и все то, чем сам является. Замрет человек, глаза закроет, думать перестанет – и все, и перестанет он развиваться, ни один его угол, ни один его изгиб не перетекает в другой. Сашка, ну напрягись, – чуть не взмолился он. – представь себе всю странность этого явления.

– Я не могу, папа, – честно сказал я. – это ведь глупо. Ты говоришь, что я, например, этот стул или стол?

– Что-то в этом роде.

– Но зачем мне быть стулом или столом?

– А почему бы им и не быть, – вздохнул он. – Куда лучше быть стулом, посмотрев на него, чем человеком, посмотревшим на стул.

– Я не понимаю.

– Поймешь, – почти шептал он. – обязательно, когда-нибудь поймешь.

Этого я не понял. Прекрасно понял, что в воспитании и досуге для ребенка он так себе, ну а остальное – это дурость его головы, а мне свою этим забивать нечего. Мне хотелось играть сколько себя помню – а ему не хотелось. Однажды я остался на улице допоздна; остальных уже давно позвали домой. Так получилось, что я остался совсем один под фонарем, часов было десять или даже больше. Похолодало, мне было лет восемь или девять. Все уходило: всех звали на ужин их матери, волнующимся голосом, нежной и строгой интонацией. Когда я приплелся домой, он сказал:

– А-а. Нагулялся? – даже не посмотрев на меня. Даже не взглянув.

Тогда ли это началось или еще раньше? Может, в тот день, когда первая мамашка ушла в первую очередь не от него, а от меня? Самая первая мамашка. Моя мамашка. Ну, когда он только головой съехал, помешанным стал. Когда книжки читать перестал да пить начал. Когда дядя Костя зачастил, да «нянчился», по его словам. Не знаю я. Не знаю. Все равно как-то; было и было.

Перед подъездом тяжело дышу. Солнце палит, живот тянет, ноги приятно гудят. Побаливают ребра, хотя после крайней стычки с Тузом прошла неделя. Мимо идет Светка, соседка на пару лет старше, улыбается мне, равнодушно здороваюсь. В мыслях – все ли там собрались уже, на нашем месте у реки? Последние летние деньки, потом так с утра на речке не искупаешься, да и холодновато уже будет. День будет долгим и приятным, ведь улица на то и улица, чтобы принадлежать лишь мне и моим пацанам.

И плевать, в общем-то, что человек я – нехороший, и что папка сегодня будет страдать и пить. Виноват, в общем-то, сам.

2

Продержали, три дня промурыжили и не устроили. И к такому не привыкать. Но я уже нашел другое место – маленький офис на выезде, заниматься черти чем. По телефону звонить – всякого я пробовал разного, но такого не представлялось пока. Обычно искал что-то и находил, с руками связанное – то профнастил стелил, то загружал-разгружал, то склады охранял. А такого, чтобы звонить – не было пока, для такой-то работы образование поди нужно. А эти – пригласили вот сами, приходи, мол, Николай, карьерный рост и белая зарплата. Как тут устоять? Вот и выпил немного – чтобы спать не страшно; перемены вещь такая. А может из-за Инги. А может, потому что мать его вспомнил.

Химия это была. Как ее, комплиментарность – моя ли, ее ли, наша ли общая, не важно чья именно, но распалась в итоге, и все. Хотя была ого-го, цементной, крепкой. Камень наш треснул, ну и я, собственно, теперь вот где. Хотя камень – не то, лучше через химию. Незрелость моих решений долго бродила в катализаторе – ее свободе, но у нас, однако, все до поры до времени было замечательно, ибо некоторые из элементов нашей породы могли бы ждать года и десятилетия, прежде чем взорваться, уничтожив все. Другие правда нет... Кислота моих решений растворилась внутри кислоты ее свободы, и мы бы даже не заметили шипения, если бы Сашок не появился на свет. Примерно так все было – возвышенно и поэтично, как в книжках, ну, а как иначе в двадцать с лишком-то? Мы как бы притянулись после того застолья, потом годы любви и страсти, связь укреплялась; были заложниками химии, повторяя то, что заложено в гомосапиенсах с начала времен. А стали в итоге заложниками быта. Мы – не кислоты, а неудавшаяся семья, вот я и запил, словно бы предчувствуя ее уход, ну, а может так статья, что запил я после ее ухода, или прямо во время – да какая разница; мужчина, безгрудый, жалкий, с младенцем на руках. С флагом унижения на руках, плачущим и испачканным. С живым воспоминанием хлопнувшей двери на руках. Химия... да, лучше передавать через химию, чем через ощущения слабости или боли – они должны бы притупляться, да не притупляются, глупости это все; лучше через нее, непонятную, донести. Да как бы человек не морщился, объясняя одно через другое (а всегда можно объяснить одно через другое), просто как бы он не морщился, переступая навыки сообщения и комментария, навязанного нам литературой или кинематографом, как бы ему не было отвратительно, все всегда скатывается в уродливый быт – любая попытка упорядочить книжную полку в собственной голове. И мы тоже скатились. И даже теперь я скатываюсь, доглатывая со дна остатки горькой. Отмечаю очередной пропащий праздник одиночества и ненужности. Отец-одиночка не ждет Сашка и, разумеется, запил вновь.

Пьяный, читаю книгу. Пытаюсь читать. Сашок пришел поздно, такой же пьяный, уронил вешалку, а я от чтения и не оторвался. Хотя на самом деле в голове – кружева, водовороты фраз; я и с ним, и в книге, и с Ингой, и вновь остаюсь без его матери: хлопает дверь и, боги, я вновь наедине с ним и вновь я ненавижу себя за то, чего не сделал и чего уже не смогу сделать никогда. Письмо нашел в мусорном ведре – и мы не стали этого обсуждать, мы ничего почти уже не обсуждаем, играть перестали в друзей, даже не пытаемся; Ингиному письму я даже и не расстроился. Люди приходят и уходят – я обучен этому лучше других. Это «житуха», как он любит повторять – и это слишком, слишком для меня несовершенно! В какой-то степени для меня это совсем неприемлемо. Сама жизнь как форма бытия для меня неприемлема своей алогичностью. Это просто усталый импульс – мои первые безумные двадцать лет; не было бы их, я бы закрыл глаза и уснул бы навеки, если бы только, ах, если бы.

Несовершенство – это, возможно, наихудшая из моих маний, понимаю трезвым умом. Слово имеет слишком много значений для одного лишь слова; можно перечислять бесконечно все то, что есть несовершенного только лишь для одного индивида; возьмите другого – поло-

вину случаев он возьмет да оспорит. Это саморазрушение и бездна, проклятое это слово. Это трясина метафизики, ведь погляди, Коля, в космос – и там нет совершенства, разве что одна математика для ракет, путающая нас, обещающая девять цифр, а подсовывающая буквы и переменные, путающая всех нас – но особенно меня, ведь ни порядок, ни хаос не есть путь к юдоли совершенства, возможно, что лишь порядок и хаос вместе есть совершенство – да и то, как посмотреть. И в то же время это шепот звезд. Это мой маленький взгляд на небо и поиск самого белого из всего белого цвета, когда они зажигаются; и мои глаза слезятся и звезды сами по себе тускнеют. И это – первый крах идеальности. Это как функционализм, не несущий практической пользы. Это как религиозные войны за право молиться чуть громче других. Это как я с его матерью. Как он со мной. Как я сам с собой. Это сводит с ума; я живу с этим так долго, боги, и никак не научусь жить с этим себе не во вред.

Несовершенство не вносит никакой ясности и даже не делает меня лучше, хотя, казалось бы, обязано. Оно обязано быть большим, чем просто враждебным миром, чем обществом предательства и подлога; но оно упорно, оно вечно, оно не хочет становится чем-то большим, хотя несовершенство, увы, всеобъемлюще. Оно – сестра пресловутой «американской мечты», но на иной порядок, по эту сторону баррикад; там во главу ставится человек, сделавший себя сам, тогда как тут – человек, что не нашел себя сам в маленьком зеркале прихожей. Оно, мое несовершенство, должно быть другим, обязано; оно должно закалить меня ушатом ледяной воды и бросить в прорубь, от которой исходит пар. Должно ткнуть мне в нос нищету и холодные макароны. Должно, обязательно должно обесценить мои сбережения (если бы они у меня были) и показать, что любовь существует – но у кого-то еще; оно должно взять меня за руку и свысока показать: смотри, мол, Коля, все, что ты видишь – в моей власти, и каждому живется хуже другого, по-особенному худо, как завещали деды и прадеды. Так что не выпендривайся, Коля – будь счастлив среди меня, как счастливы и они, цени то немногое, что имеешь, пей, пей, Коленька, пой грустные песни и находи в себе силы, несмотря ни на что. Таким... таким оно должно быть, мое несовершенство. Отрезвлять и будить во мне лучшее. Но осталось ли во мне это самое лучшее? Осталась ли во мне хоть крупица того, что не отшибли этой тяжелой дверью сущего, громко хлопнувшей, этим защелкнувшимся сухим щелчком замком среди эха коридора?!

Оно не такое. Оно начинается каждое утро – и, боги, оно не такое! Импульс – ну и хорошее же слово; убеждаться не устаю, как точна иногда терминология, одно слово на сотню. Так вот, мой импульс – это первопричина, а каждое новое утро – это следствие. Хотел бы я и теперь зачитываться философией рационализма, но увы – я помню лишь фразу Декарта о мысли и существовании; все остальное выела водка и возраст. Я открываю глаза, я знаю все о своем двадцатилетнем импульсе, но до открывания следует маленькое, незаметное: следует титаническая борьба Николая с мировым несовершенством. Я открываю их спросонья, механика; тут же зажмуриваюсь что есть силы и размышляю, размышляю... Задаюсь вопросами вроде «зачем», верчу их на языке помногу, в разных категориях. Зачем это, зачем то. Ради чего оно все. Что я собираюсь делать, как жить. Для чего жить. Все эти (зачемзачемзачем) вопросы наслаиваются; боги свидетели – я давно уже на них не отвечаю, так что может показаться, что это просто ритуал. Хочется ли мне? Нет. Нужно ли мне? Нужно, но не мне – кому-то еще нужно; догадываюсь, кому именно... И эта маленькая борьба не может быть борьбой по самой своей сути – засомневался, значит проиграл. И мне нужно бы, нужно не сомневаться – нужно точно знать, нужно создавать себя с самой постели, с самого утра, быть новым и быть лучшим, начиная с открывания заспанных глаз... но я не могу. Я равнодушно принимаю существование, в котором есть место лишь несовершенству – и мне. Однажды это кончится; импульс приближается к роковому концу. И что тогда будет со мной и с ним? Два человека с виду, а так – прорехи и дыры в одеяле души...

– Сашок, – зову его. Слышу, как что-то там валится и падает. Может, вторая вешалка. Может он сам. – Сашок, ты будешь есть?

За моей спиной он что-то тихо говорит. Как соседи, правда – я с книгой, даже не обращаюсь в его сторону. Он – не делает попыток говорить чуть громче. Наверное, это слова вроде «буду, сам разогрею». Вряд ли что-то еще.

– Где? – все же доносится до меня.

– Вторая полка. Увидишь, в сковороде.

– Ага. – хмыкает. – Вижу.

И я попытался погрузиться в чтение. Безрезультатно. На самом деле я слушал то, что он делал, но свои тщетные попытки не оставлял.

«-ность. Маменька, маменька, причитала она, простите, кричала она, заливаясь слезами, ка-»

Глаза стирались о проклятую строчку, невозможность принятия последовательности повествования отстукивали диссонансовую пляску, ведь одновременно я читал, вспоминал былое, рассуждал о несовершенстве, думал об Инге, о том, хочу ли я новых детей и спрашивал своего пьяного сына о том, хочет ли он есть, а после слушая его и гадая обо всем на свете.

– Где был? – так же рассеянно спрашивал я.

– Жил. – просто ответил Сашок. – В лучших традициях реализма. И тебя, конечно.

– Рановато.

Саша икнул и промолчал. Одно с ним хорошо – за словом не лезет, даже погордиться им можно. Но если и стану – то не признаюсь ни за что. Хоть пытать будут – ни за что...

– Жить всегда рано. – я не обернулся на его слова, но слегка улыбнулся. Ответ был далеко не совершенным, но в нем слышалось нечто мудрое, чего никогда не услышишь у сверстников его лет. Иногда, когда мои мысли не тревожило это мое маленькое помешательство насчет несовершенства, я мог получать удовольствие от таких вот маленьких вещей. – Оставишь денег? Надо мне.

– Сколько надо?

– В этот раз побольше, сотки три, надо. Как обычно, верну.

Я кивнул, и мы замолчали. На том и порешали. Маменька, маменька, причитала она. Под оглушительный, разрывающий перепонки грохот тарелок и вилок я перечитывал вновь и вновь одну глупую фразу, монотонно, стуком рельсов в голове ухало это слово – маменька, маменька, маменька, все накручивалось, било обухом, за окном шумел ветер, монотонно билась вилка о тарелку, в новом коллективе меня как обычно не примут, но, маменька, мне нужно будет втереться в доверие, чтобы придумать, как что-то опять украсть и перепродать, маменька, фраза повторялась, пьяный сын бил вилок по тарелке, воздух пропах газом с плиты, мы с ним на пару – пропадали, моя жена и его мать опять хлопала дверью, в висках шумело, маменька, все было несовершенно, бум, бум, зачесалась борода и скрежет от моих ногтей опять сбил меня с мыслей, и вот я опять читаю ту же фразу – маменька, маменька, снова стук, и еще сердце, и сигареты бьются изнутри о пустоту пачки, да еще и ветер за окном, и пьяный Саша, и он иногда так сильно пугает, маменька, и вот я снова думаю, как Инга ушла, а я приведу новую женщину в дом и он выбросит письмо от нее в ведро, маменька, и это несовершенно, ах, слишком несовершенно, маменька, даже чересчур, и Сильвия со страниц Свифта вновь испражняется, и это заклинание, маменька, и вот я снова в мыслях там, где все пошло не так, давно, давно, маменька, это было так давно и будто бы вчера – вот как это, вот как!

Но наваждение прошло, я опять задумался, какое впечатление произвести и что бы мне завтра стоит попытаться украсть. Офис... компьютеры, телефоны те же. Костик будет руки потирать – он-то людей знает, на базе прочно работает, краденое там только так улетает; надежнее, чем в ломбард нести. Никогда еще следов не находили. Хотя что и говорить – никогда и не пытались...

Пытаюсь читать, слушаю стук вилки. В голове шумит. Мысли – о несовершенстве, о женщинах, о прошлом с его дверью и о том, сколько еще движимых вещей мною будет «списано». Это, если посмотреть плохо – так, что во мне даже какая совесть борется. Но хоть несовершенство и не делает меня лучше, хуже не делает точно. Знаю, что сам далеко не святой. Цель, все таки: кушать же что-то надо, да и Сашку новые кроссовки давно пообещал.

Не хочется в школу, конечно, а надо. Ну как надо – да, все же надо. Потому что если в школу не ходить, то и делать по утрам нечего. Встаю я рано. Тренировки мои много времени не занимают. Вот представим, что я в один такой день захотел – и не пошел никуда. Что делать, когда все мои чем-то таким заняты? Славик – и тот на уроки ходит. Слепач после инцидента там крутится как-то, в шараге своей восстановился. Сизовы – у тех учение железнодорожное... Ясень за книжками по вечерам, а по утрам учится, старается. Все, короче, при деле. Вот и мне вроде как отставать нельзя. Шутки ли – я наоборот примеры подавать должен.

Одеваясь, как обычно предаюсь мысли своей маленькой. Ну, что папка до безумия своими привычками заразен. Что он двинутый страшно, ну и я тоже, выходит, но по-другому, по-своему; мы все же отличаемся сильно. Вот он, например, вещи говорит ненормальные, живет по-собачьи, мамашек любит водить, но как человек – добрый очень. Ну я вроде как говорю правильно и по делу, только вот поступаю нехорошо. Ну как – нехорошо. Это как посмотреть, опять же. Че-че, а это заучил с детских лет, с малолетства: он-то меня историями пичкал разными, тезисы говорил. Чуть на стене их не выписывал. Добра, мол, нету, Саня, да и зла тоже – все едино, как поглядеть. Вот и смотрит он, не видя, да и я не особенно вижу, слова знаю вроде «морали» и «совести», а вот ощущать – не сказать чтобы очень их ощущаю. Хотя надо бы. Пример, как-никак, да и в ситуации с Крытым иногда помогает, коль в себе эти ощущения да категории нахожу. Отпускает, как если вина напьешься. Или злобу на ком выместишь. Не так же, но похоже, конечно.

Я тут, к слову, открыл забаву – книги по воспитанию называется. Слонялся как-то, Славяна ждал, а его не было все. Зашел в библиотеку неподалеку, а на меня глаза таращатся, не заходит к ним никто. Под шумок взял да утащил одну – хотя, казалось бы, чего мне стоит билет завести? Но чего-то взяло да дернуло. Умом понимаю – детство, ну, так красть; красть надо умно и с выгодой, как старшие, когда раз украл – и пьешь-гуляешь по баням, да пацанам своим ящик за ящиком ставишь. Ну я – вот так. Да это и не кража даже, а так... торопился просто. Зачитался потому что, а второй раз заходить не пристало. Маленькая она такая, в карман олимпийки влезла как надо. Вспомнил про нее поздно ночью. Долго не спал; листал, удивлялся... Странно такое чувство, новое и злое: читать и понимать, что ничего из этого с тобой не было, не будет, да и незачем, в общем-то.

Называется еще так, что увидят меня – драка случится из-за названия. «Проблемы любви. Что мы делаем не так» – ну смех-то, смех. Пустая, вообще, книжка. Ребенка ничему не научит, родителей – тем более. Ну хотя мнение мое, громко звучащее, особенное от других мнений, у меня, как папка-то завещал, все хорошо. С собой быть хорошо, лучше, чем не собой. Так что я даже с этой книжкой спорил и смеялся над некоторыми фразами. Но большая часть, конечно, шляпа та еще. Никакого «отклика в душе» – папкино фразочкино наследие, че уж. Одно и то же и не по делу. Мол, будьте разным, будьте хорошим и плохим одновременно. Ни слова про мамашек или алкоголь. А вот про жестокость детскую – до жопы; вот там меня чуть и проняло. Но в это я, конечно, не поверил.

Папке скажу – засмеет, про пацанов я вообще молчу, такое с ними обсуждать – дело гиблое, бунт и переворот будет. А папка бы оспорил. Сказал бы, что я просто маленький и в свои шестнадцать хрен че понял, а там умные штуки понаписаны. Максимализм, типа. Но Саня

Гайсанов пацан непростой: диктатор-отец этот самый максимализм повытравливал всякими хитрыми воздействиями. Много ж всегда говорили. Как бы это, словами-то... Что и говорить – в двенадцать он доказал мне атеизм. В двенадцать я долго смотрел на голую и пьяную женщину – одну из мамашек, что уснула, а он, на тебе, анатомия, Сашок, все дела. Он в этом весь такой: он делает вещи, друг другу противоречащие, делает и говорит. Меня много раньше заставлял – теперь боится поди! Так что книга занятная и странные чувства вызывает, о которых и сказать-то некому. Я ее потому и сжег на следующее утро. На пламя так смотрел долго, думал много. Наверное, наше отличие вон оно в чем: папка, хоть и пьяно, но создает, а я как бы разрушаю. Даже и смысла-то не вижу. Как тот немец-разрушитель из книги, да и папку он не любил. Сжигать, короче, это дело хорошее; гляньте вон на Кирюшу-пиромана, так тот тоже жжет, а почему – не знает. Просто, говорит, душа требует. Так и у меня. Импульсы какие, по-другому и не скажешь.

А все с воспитанием почему так плохо – ну, что без мамашки жить начинали. А те, кто приходил – не то все. Готовили разве что вкусно; папа только и знает, как с утра яичницу сжечь, а вечером макаронки сварить да курицу обжарить. Рацион вялый, тут-то мамашки и хороши. Но не все. А вообще я, помнится, как-то раз спросил:

– Пап, а где наша мама?

– Она бросила тебя у меня на руках, хлопнув дверью. – впервые признался он, вместо привычных слов вроде уехала, далеко и все в этом духе. – Твоя мать – сука та еще.

– Что это значит? – я не знал значения этих слов; было мне лет пять или шесть, а он был пьяным, что ли.

– Что она плохая.

– Мама-плохая? – удивился я. Не сказать, что я особенно в то время часто о ней вспоминал, но все же было по молодости дело.

– Да, плохая.

Помню, что-то такое пораскинул в голове, вопрос сам пришел в голову. Ну, или сейчас мне так кажется – как у француза с его бисквитом да чаем липовым. Вроде как бы говорил то самое, а может – кажется, что говорил. Но общую структуру я помню. Пот часто прошибает при таких воспоминаниях.

– А я – плохой?

– Тебе решать. – сказал папа.

– Что это значит?

– Что все это не имеет смысла. Что... – начал он и осекся. Пьяно выдохнул. – Давай спи.

А я – без сна, проворочался, бесшумно плакал. Даже злоба теперь берет, но ненадолго; выдержал, выстоял, несмотря ни на чего. Быстро возвращаю утраченный было контроль. Контроль – это хорошо, правильно. Это помогает в делах и днях, не думать обо всяком помогает. Цель – и пути ее достижения, мысли об этой цели, ну, когда она все-таки появляется. Не сказать, что бы она появлялась часто, но зато она появляется метко; когда захочу, тогда и выполню, качественно, четко. Как в этой маленькой обязательке – ну, школе, как вот теперь, бодрым шагом иду слушать то, что мне неинтересно. Или как моя маленькая (огромная, большая) война с тузовскими. Это мне помогает и меня же делает. Так что воевать – хорошо, а вот думать о прошлом или будущем – плохо.

Когда взрослеть начал, ну, до зала еще и пацанов, было хреново. Как-то раз даже добрался до заброшки на районе, ну, той самой, где гостиницу уже лет тридцать строят. Иронично они себя; в районе моем – и гостиницу! Сами типа поняли, мол, гостей нам не надо, свои только все тут. Приезжие, мол, не нужны. Вот и стоит она, заброшка, лет двадцать пять уже, папка ее уже такой помнил. Настолько она древняя, что даже наркоманы никакие не собираются – культурные стали, социальные. А вот я как-то пришел, ну, когда невмоготу стало. Ну и начались забавы в лучших традициях шотландских андрогинов.

Я, в общем, начал тогда с крика протяжного – орал, связки надрывал. Так громко, что если бы кто поблизости шлялся, полицию вызвал бы, подумал бы, мол убивают или насиляют. Но не было никого. Прооравшись, я бесцельно по ней шатался, ну а потом – разрушать. Вытащил кирпич из полуразвалившейся стены и ногой его затоптал, и другим бил кирпичом, в пыль его превращал. Убить могло – стены покосившиеся, плиты источенные. Но стен много, кирпичей много, плиты на месте – и вот новый кирпич в руке. И этот тоже в пыль. И старые доски. И вещи чьи-то – на куски их разрывал. И по стенам бил, что руки в кровь. И опять кричал. И лежал на холодном бетоне, скрючившись и подвывая. Навалилось все просто; я себе даже показался немного съехавшим, ну, выл когда. Грустно просто было как-то. Это, наверное, последний день был, когда я реагировал так остро на все, на всю мысль свою, на всю действительность. А вот почему – хоть убей не помню. То ли о первой мамашке задумался, то ли о том, кто я и зачем я. И не смог вывести точности в голове...

Вечером того же дня я ползал:

– Зачем я существую? – последний раз перед ним я плакал.

– Сам скажи.

– Не могу, – Я всхлипывал, а было мне тринадцать, кажется. Нет, точно: тринадцать. – я попросту не знаю.

– А никто не знает. Ни я, ни дядь Коля, ни соседи, никто. Кто-то для этого религию придумал, кто-то в нее даже верит, кто-то занимается чем-то даже полезным, вот, мебель строгают, как у нас стоит, ну или макароны лепит. Но зачем все это – никто не знает, Саш.

– Но это сложно, – я, сам того не зная, впадал в какой-то кризис. Слово забылось. Ну, что-то связанное с существованием, папка учил, да не выучил. – мне так сложно это понять.

– Да нет, на самом деле легко, – говорил папка. – просто надо плыть, да и все. Если сопротивляться, то жизнь закончится смертью духовной, а ее допускать нельзя.

– Почему?

– Ну, исправлять все надо. – безумно говорил папка. – Все неправильно ведь. Но я – это я, Сашок. А ты можешь все. Все, слышишь? Захоти только – и ты единственный, кто будет знать, «зачем». Понимаешь, Сашок? Исправлять надо это, – он обводил рукой комнату. – все это, Саша!

На следующий день, сомневаясь и робея, я пришел в зал бокса. Ну, и завертелось. На заброшку больше не ходил – незачем, в общем-то.

Воспитал, в общем, не папка меня – от того только вред один. Чудом избежал лишения родительских прав, хотя женщины из служб приходили, но их он подмазал, уговорил, справки через дядю Костика какие сделал. Бабка с дедом с ним не знают, да и со мной тоже – история старая, темная, никто не признается. Да и бог с нею, в общем-то. По лицам нашим вроде как видно – пить скоро вместе начнем, хотя мне и не хочется. Соседи, говорю же, ни больше, ни меньше...

А вот заброшку запомнил хорошо, да. Как обессиленно лежал на земле да рыдал, ребенком был – это хорошо помню. Ну, точно – один в один шотландская забава с осами да насилием, не меньше; собаки меня только не кусали, да и то хорошо. Тьфу, привязалась эта история, куда теперь не плюнь, все одно видеть буду. Се ля папка. Литературу он мне всегда выбирал стоящую, вот за что-что, а за это – спасибо. Своеобразную, дикую, непонятную. Говорил, мол, литература есть основа, ну а я пока малой был, не сёк особенно в сути «основы». Вот и вёлся, наказаний страшился. И читал, разумеется, и ни черта не понимал; но как тут отказаться-то, как, когда иначе – слегка даже бьют? Так что делал все то, чего скажет – ну, до того самого дня, когда заброшка да ночь бессонная. Ночь, когда я решил стать Саней Гайсановым, который несмотря ни на чего – ну, и, собственно, наутро им стал.

Папка, папка... вот же персонаж забавный. Как-то даже предложил мне попробовать женщину, одну из мамашек, которая относилась к нам обоим несерьезно – он был ужасно

пьян и призывал к моему мужскому естеству, да только я вот не захотел. Жалко мне его тогда стало, и ее, а вот на себя как-то безразлично. Все у меня и без его помощи будет, папка еще обзавидует. Мне это пока неинтересно. Хотя ладно – мне неинтересно многое, практически все. Кроме улицы да пацанов, да войны, да вина с сигареткой, вот это по-нашему, а остальное-то? Это укладывается в мою систему, что ли, в то, что я называю «контролем». Да, не слово, а огонь. Я контролирую все, что происходит. Не зря пацанов моих зовут гайсановскими, не зря; однажды все переменится, а я буду готов – волком чую.

Но пока что – новый учебный год, черная неизвестность. Улица и дорога до школы – знакомые дворы, люди, закоулки... все это – мое, и таких же моих пацанов, а не чье-то еще. Самая приятная часть дня, ну, когда я снаружи, не заперт в рамки и стены. Когда могу, кажется, все. Когда завидев меня, мелкота разбегается, а старшие кивают – присматриваются наверняка... Ну, здорово, правда здорово! Да еще и солнце это утреннее ласкает. И на речку еще можно после обеда сходить – тренироваться и готовиться к новому этапу нашему на них наступлению...

Денег есть немного – оставил, а сам на работу новую ушел. Механически было:

– Извини, что не показал письмо, что спрятал.

– Ничего, ты не виноват.

Когда накрывал его, пьяного, сам будучи пьяным (вино Казака – чудо, где он только берет его), даже нежность какая на секунду появилась. Но я отогнал. Книгу с пола подобрал да заложил бумажкой. Книги эти... ненавижу, места занимают у нас столько. Как пространственную фигуру ненавижу, сколько раз оступался? Сжечь бы все их, как по воспитанию, авось, поможем миру. К хорошей литературе я равнодушен. А вот плохая занимает слишком много у нас в квартире места.

– Николай. – говорит любезно Аркадий. – Николай, ну что же Вы? Николай Иваныч, – шуточно говорит он. – Давайте смелее, что же! Что же...

А вся проблема, разумеется, в любви, взять любую книгу да посмотреть внимательней – так всего лишь она вещь о любви, о таинственной любви, о жестокой любви, о дороге к любви, о потере любви, все вместе и сразу; начнешь об этом думать, и во всем начнешь это видеть, даже в окружающем мире, неявно и туманно, но это проступает серыми силуэтами. Любовь внутри всей этой физики – внутренней да наружной. Внутри ветра. Любовь есть и милосердие Бога, и амуровы стрелы мироздания, и улыбающиеся детки на полуразбитых площадках; любовь есть жизнь и одновременно смерть, дающая начало новым формам существования других организмов. И, конечно, любовь всепроникающая, она в каждой клетке и в каждой молекуле, и в этом ее прелесть, если бы не одно маленькое, однако значащее «но»: любовь постоянно движется от оси к другой оси и порой трудно увидеть ее, она одновременно и поцелуи, и убийства, и смущенное приветствие нового коллектива, и треклятая фраза про маменьку, которая отвратительно напоминает мне про жену и дверь, так вот все это любовь – в каждой из своей ипостаси, в каждом ежедневном безумии, в, поприветствуем Николая хлопками, во всем этом и есть наша любовь. Общечеловеческая. «Ежедневное безумие» – да, это мне хорошо подумалось, честно. Рассуждая, прихожу к выводу, мол, любовь прочнее любой связи, боязнь любви тоже важна, да еще и ненависть, которая так же любовь, но уже к страданиям, и вроде бы все этим должно объясняться, подталкивать меня к моей одержимости несовершенством и хорошенько ее оспаривать, однако – нет. Из этого, кажется, должно рождаться противоречие, и где есть страдание, там обязана эта книжная и всепроникающая категория залечивать, лазарем восставать, и разводить свои стрелы-руки, но все-таки... все-таки. Все совсем не так.

Касательно совершенства, очередные разоблачения, коих накопилось с миллион. Мое признание любви как силы терпит крах, ибо где в ней разуверился один, там и для второго найдется сомнение, а поскольку синоним совершенства – безупречность, то есть тотальное нежелание упреков вырваться из моего рта, и это должно быть абсолютно и непогрешимо (что, несомненно, тоже является синонимами) в отношении всех. А поскольку я один, кажется, это замечаю и озвучиваю, то что же... вот он я, не верящий в любовь. А почему? Потому что любовь противоречит сама себе, каждый новый ее виток наслаивается на следующий.

Она, как бы это на пальцах, неправильная, и совершенство ее повсеместности и, казалось бы, универсальности, разбивается о тезис самой ее несовершенности, и это только сравните двух абсолютно разных людей, что по-разному любят и разного от нее хотят. Ну а что тогда сравнивать человека и ветер, или хлопок с пассажирским вагоном? Безупречность, разве?! Так что упреки рождаются, ибо по натуре я – заядлый спорщик, да еще и человек, а человеку свойственно быть недовольным, всегда и везде торговаться и смущенно смотреть в пол, когда хлопают, да еще и треклятый коллектив, в котором я, возможно, несовершенен, а они, по их же мнению, очень даже да – по рожам видно. Так и с любовью, а это безусловно что-то химическое, у этого нет меры, и это нельзя искусственно создать, так же как и многое другое, но раз это возникает само по себе и против себя же, а Николай что-то о себе расскажет или нет, значит это должно возникнуть и как минимум в этом его нужность, в его репликации, значит, я только что доказал наличие совершенства через такой глупый и спорный тезис, что раз что-то есть, то оно зачем-то нужно? Привет средневековой чуме! Ах, что же, что же, что же за глупостями я занимаюсь, и кажется, и кажется, и все мне просто кажется, хотя должно бы знаясь наверняка!

– Николай-Николай, – весело заводит коллектив Аркадий Алексеевич. – помню, как я, да на Вашем месте, да еще пуще, да краснее... Что же за место проклятое! – шумно выдыхал он с некоторой злобой и горечью; кругом ухахатывались.

Хотя на деле все, конечно, иначе. Ладно, молчать уже невежливо совсем. Хорош русский язык некоторыми словами, хотя может и любой язык этим хорош, но мои конкретные с ним отношения предполагают кинезиологическое исследование внутри черепной коробки, когда там что-то внутри сначала движется, потом щелкает, а потом слово, употребляемое бесцельно, обретает смысл. Говоря проще – удар. Так, бывает, говоришь, я Николай, возраст такой-то и я трезвенник, а потом внезапно движется, щелкает, и слово «трезвенник» порождает пятнадцать противоречий внутри. А потом – слово «пятнадцать», сразу полтора десятка светящихся шариков пляшут. Ну, а после – возвращение к семантике, и мой треклятый восьмирукий Бог, мое несовершенство во главе и голове, ибо «трезвость» разнится значениями, и дело не в наличии или отсутствии опьянения, а в том, трезво ли я смотрю на вещи, находясь в коллективе, представляясь Николаем и болезненно вспоминая, кем так трудно и внезапно вырос Сашок. Хотя, как сказать вырос – скорее стал; мои тщетные попытки воспитания разбивались и будут разбиваться, потому что я, кажется, совсем для этого не создан, мне бы повзрослеть самому, да только матери у меня, жаль, уже нет, знаясь совсем не хочет. Что уж о воспитании говорить. И все это за мгновение, пока слово «трезвенник» не успело еще слететь с языка. А ведь я так до конца и не закончил с понятием любви да несовершенства...

Под хохотание и хлопанье, под улюлюкание и звериное зубоскаливание вынуждена продираться моя улыбка, и сдержанно кивает моя женщина-начальник Елена Борисовна, и смотрит на меня отдаленно, но так, что мы в невидимых нитях желаний качаемся вместе и гольшом, и я киваю тоже, а в голове заканчивают светиться шарики, Сашок отодвигается куда подальше, несовершенство – несовершенно, социальщина сильна, а на часах начало десятого, меня оформили на новое место, офис хороший, и кофе, кажется; кофемашину абсолютно все хвалят, да и в объявлении ни слова про гибкий график, зато про кофе – аж полтора абзаца.

Я знакомлюсь с каждым из тех, кто смотрит на меня с интересом и без него, кто водит бровью, предчувствуя конкуренцию или же кто хочет обхитрить меня, взвалить на мои плечи

часть своей ноши, не потеряв денежного эквивалента своих трудов. Все они, дети углов и изъянов, засыпают меня вопросами, а я держусь и держусь, сдержанно улыбаюсь, и когда выясняется, что Николай, каково ваше семейное положение, да такое, что жены нет, а Сашку шестнадцать, и сразу оханье, и дородная, кажется, Люба, ну а может и Света, еле заметно проводит тыльной стороной ладони по моей руке, словно бы жалея. Я жму сухие руки под сухие вопросы. На моем рабочем месте уже давным-давно лежат проспекты и рабочие тетради, которые нужно знать наизусть, чтобы приносить эффективность, чтобы, обзванивая, знать, что спрашивать и что отвечать, знать как отрабатывать возражения, как продавать. Хотя куда мне это – я много уже не понимаю, многое мне непонятно, молодые некрасивые девочки, которые обучались вместе со мной, схватили все на лету, ну а я – я. И от этого паршиво, хотя и не так, ведь я, что называется, давным-давно уже перебиваюсь такой работой, месяц-два и в сторону, что-нибудь обязательно прихватив. Однажды я успешно попал в одну из фирм страхования, через месяц разорившуюся, так что внутреннее оборудование тащилось всеми, а не только мной. Я выгодно продал пару процессоров – хотел купить Сашку джинсы, но он попросил меня отдать ему деньги. Джинсы на нем тем же, ну и верно, деньгами он давно уже распоряжается сам.

– Николай, ну расскажите о сыне, – все не унималась Люба. – знаете, я всегда думала, что судить по человеку можно только по детям. Мой-то не оболтус, спортсмен. – следующая фраза была похожа на домашнюю заготовку. – Целеустремленный, как его папа в молодости, и красивый, как мама. В данности. – хохотнула она, отмахиваясь будто бы сама от себя.

– А что рассказывать, ребенок как ребенок, – сказал я, а внутри скрутило. – Учится, книжки читает.

– Да что вы? – подхватила Евгения, сухая женщина в очках, роста маленького. – Как вы его заставляете-то? Мои – ну совсем ни бум-бум, не заставишь. В интернете всегда, даже на улицу не выгонишь.

– Бабоньки! – чуть не вскричал Аркадий Алексеевич, начальник отдела продаж. – Отстаньте от человека, налетели, куры! Все им узнать надо, все им рассказать. Человек, не чай, первый день, освоится, все расскажет. А вы так сразу, да с такими... волком взвоят человек.

– Ах, да бросьте Вы, Аркадь Алексеич, мы бабы и бабы, ну а знакомится – это как же? Дело первое! – она запыхалась. От разговора запыхалась Люба. – Ну так все же, все же, Николай, – Она все не унималась. – расскажите о вашем методе! Мне бы тоже... Спорт – дело нужное, но и по программе подтянуться надо, не только же турники гнуть. В школах-то сами сейчас каково – знаете, небось. Колитесь, Коля!

Все закивали головами. И даже Раиса Головнева, эффективный тренер активных продаж, неэффективно заботящаяся о своей фигуре и (особенно) лице, тоже крикнула что-то в поддержку коллектива.

– Да просто это, – начал я, но голос подвел. Прокашлявшись, я попытался закончить. – Просто это, дайте ребенку свободу. Объясните, чем это хорошо. Я вон ему так и сказал. Да, так и сказал.

В памяти – его слезы, мои тумачи. Как он читает, заикаясь и проглатывая окончания.

– Ну, сказки рассказываете, – сказал кто-то, чьего имени я пока не узнал. – дай им волю только, они же на шею сядут!

– И вовсе нет. – пытался говорить я, но мой голос потонул в шуме иных голосов.

И, пока они кричали, я невольно вернулся мыслями к Сане. Саша, Сашок, ставший чужим – хотя что уж, всегда он был чужим, наше родство перечеркнула та дверь, хотя нет, причем тут это? Пока бабы шумели, был перерыв, а Аркадий Алексеич аккуратно отводил меня в сторонку и шептал: «заклюют», ну а я все размышлял, вспоминал, мой анализ начинался с крика, как я пытался перекрыть кричащего младенца, я было бросился догонять жену, да вот только Сашок проснулся от хлопка, и я в растерянности стоял вечность между дверью и кроватью, бессильно пытаюсь выбрать. Дверь была ближе, а мыслей вовсе не было,

ах, все опять приходят к мыслям о любви, к бессознательному моему движению. Я пытался его успокоить, а в его истошном крике было слышно слово «мама», хотя он говорить-то не умел, и я тоже закричал, пугая его еще больше, и это стучало, стучало, стучало молотком в моей голове и пульсировало бешеным ритмом. И стучит до сих пор – какой год уже.

Алексеич говорил, мол, Николай, пусть себе судачат, просто дети-то у всех, вот они и взорвались, да и тебе не особенно верят. Но говорил он это как-то дергано и резко; не узнать было этого простачка в эту самую минуту. Из вежливости я переспросил:

– Почему?

– Да никому они потому что не верят, люди такие, – жал он плечами. – Ты вот человек новый, а я с ними второй год уже, надоело. Ты вроде мужик нормальный, тебя только это, направить надо, и будем мы с тобой тут спасаться от их влияния.

– Так все плохо?

– Сомневаешься? – усмехнулся он как-то жалко, скукожился теперь. – Бабы они и есть бабы. Да и вон эти двое, гля-ка на молодок – те, так хуже старых баб, от них ума набрались, а теперь их же и учат. Во, хорошо придумано, учат друг друга тому, чему от друг друга и научились. Или же... – он задумался. – Не так, придумаю, запишу на флипе. Как, знаешь, афоризм дня. Видал вон, – он указал рукой. – какие штуки умные пишем?

– Умные. – согласился я, увидев изречение классика о работе и о ее оплате.

– То-то же, – просто сказал он. – «чтобы труд был необходим» – гениально! Очень им помогает.

Я пожал плечами.

– Неубедительно, Аркадий Алексеич.

– Ну а ты думал, я в этот бред верю что ли? – открыл он мне свою страшную тайну, шумно сглотнув. – Я на окладе, да и процент от их планов капает. Я и должен быть таким.

– Вы мне так секреты выдаете, – задумчиво сказал я. – будто бы оправдываясь. Не то, чтобы я выпендривался – просто замечание.

Он секунду помолчал, словно бы пристальнее всматриваясь в мои глаза.

– Умный ты мужик, Николай, правда дурак. Потому что сюда подался, работа сучья.

– Где-то есть теперь другая?

– Где-нибудь может и есть. Но не тут, как сам понимаешь. В общем, – он потер руки. – бабье не слушай и вообще с ними общайся поменьше, они вон пускай тех молодух учат, ну а я тебе сам все объясню, ты там подойди, скажи, мол, Аркадий Алексеич, так и так, не понял тут, а вот здесь объясните. Ты, Николай, человек уже по меркам этой сферы, в возрасте. Я когда пришел, так же не понимал ничего, компьютер вообще впервые в жизни увидал.

– Ну, я уже прежде его видел. – улыбнулся я. Тащил такие когда-то Костику – и шумели, дымили, пили вволю.

– Ну, ты понял. Давай в общем, тетради в руки – и вперед, учись. И им – ни слова о наших разговорах. Эх, мужики! Братство! – он смешно потряс кулаком кому-то. – Понял?

А я не понял – в голове уже только снова мысли, тезисы. Почему именно любовь, как это так внезапно я пришел к этому в этом бежевом офисе, а тут еще и вопрос, первый же от коллектива – и про Санька. Удар в самую душу, под кожу; внутри крутит, да еще после вчерашнего отчуждения, вилок, стуков, уханий в голове...

Оглядываюсь, вырываюсь из обморозки, что приключилась, нахлынула. Кругом – школа равнодушная, парты, духота, жужжание.

– Так чего думаешь? – спросил Славик, тонкие губы еле разжимались. – Вместо речки, вместо всего этого. Соберемся да вдарим, ну? На Казака смотреть больно, выцепили поутру, шакалы позорные, втроем били. В деле, короче?

– Как я могу быть не в деле? – спросил я, поднимая на него глаза. – В два, на Малом проспекте. Собери там всех: Сизовых, Кирышу, Ясеня. Сейчас бы рвануть... да не наших, не их не собрать в такой час. Я на всякий до Косого двину, оклемался, может.

– А Тумблера?

– Точно, зайду, зайду, – кивал я. В голове у меня уже рождался план атаки. – и еще надо Слепача брать.

– Он что, – удивился Славик. – он уже...?

– Да, отпустили. – улыбнулся я.

– Где же он тогда шляется, собака? Нет бы к пацанам, а он.

Я пожал плечами.

– Трудно ему сейчас, восстанавливается в шараге. Он буквально дня три как, Славян, мы так, мельком. Говорит, потом встретимся да обсудим. Вот и повод перецепиться, а Казака жалко, но это ничего, ничего. Встретимся сегодня со Слепачом, он такой, идейный, знаешь. Уши и погреем, че уж.

Он нахмурился.

– Это-то ладно. У, шакалы! Казака-то, поди невиновного. Изнутри аж дрожу... В два, короче? С пацанами? Взять чего потяжелей?

– Сам смотри. Жарко сегодня, да?

– А будет жарче, – оскалился Славян. – будет, сука, найдем их. Выпотрошим за Казака. – Нарушил Слава дисциплину наконец, присвистнул яростно, на уроке прямо.

Училка тут-то и обратила на нас внимание, неслыханная, мол, наглость. Хотя че наглость-то – говорят на уроках все, тише правда, да и бесполезней. А у нас цель, война у нас долгоиграющая. Как на войне – и без совещания, без планирования? А она не поймет. Да никто из них, поди, не поймет – не им же кровь проливать за правду, так ведь?

Взорвавшись, она пространно начала распространяться о невежестве, хамстве и отраве, проникающую в сердца маленьких мальчиков и превращающих их в отвратительных животных, что срывают уроки. Славик хамовато отвечал ей, она все больше раскалялась. Я молча кивал, улыбаясь, когда моя фамилия изредка грохотала над классом. Что и говорить – мы, бляха, не пай-мальчики, слава гремит на всю районную школу-то. Догадываются они, что мы те самые, что мы – те, кто помногу дерутся, рожи-то не скрыть разукрашенные. Вот смотрит она на нас, на ухмылки наши, и чует, сука, что я Гайсанов; чует, что возглавляю я пацанов с восьми утра и до восьми вечера, а иногда – и до следующих восьми утра. Как будто бы знает, что мы не из тех, кого она корит в других классах – там пацаны обычные, не мы, тихие они, а только перед учителями да и громкие. Мы же – нет. Мы – такие, как есть. Нас вообще восемь, как Косой откололся, переехал когда, знаться не хочет. Мы вообще для своего возраста – главная угроза да гордость района, не считая других таких же, ну, врагов. Мы шумим на уроках, ну а после них своими быстрыми ногами избегаем приговоров, а руками их себе выбиваем. И они догадываются, кажись. Догадываются, но ничего с этим не могут поделать. Так что орет или не орет училка – неважно это, бывалые, переживем. Вот на Малом в два часа – это истинно; остальное – мелководье, пустые балаганы. Где бы понять им, учителям, которым запретили быть нашими воспитателями, где? Вот и сотрясают просто так воздух. Вышли бы с нами да посмотрели: воюют пацаны, за правое дело кровь льют...

Голова – сплошной шум да боль, вчерашнее накатило. Казак еще непобитый, вино протягивающий в памяти – хорошо-то как было, а! Но то вчера было, поутру еще вполне ничего, ну а теперь вот разморило, нахлынула боль эта, да в самую голову. И, как назло, всякая гадость лезет, а тут еще и известие утреннее, мол, Казак бит, но будет жить, озлобленный и серьезный.

Били несильно. Внимание привлекали, шакалы. Мол, затишье долгое, а у нас война. Будет им, сукам, сегодня же и будет...

Но голова пока на первом месте. Гляньте-ка: я как папка с его извечными проблемами, которые у него поутру, после гудежа. Может, от этого все? Я и за собой замечал – даже поговаривать как он начинаю, ну, когда башка на две части. Я тогда даже как будто и сам это его бредовые «несовершенство» и чувствую, и знаю, благо оратор он знатный, весь язык протер, тезисы его чуть по венам не текут. Вот и теперь подзадумался, а виной тому боль, Казак да училка эта проклятая с «падением нрава мальчишки». С этим своим: «Тувин, вон из класса», и отчетливое славиковское «нет» – классика, год второй или третий она с нами тоже воюет, да все никак. Ей бы у нас поучиться бы.

Или папка виноват в этом? Он как не заладит, то одно и то же, всего три темы – несовершенство, книжки да мамашки, а об остальных мыслях я вроде как догадываюсь, пару лет как на телепатию перешли, кивки головами вместо слов, все такое. Как заталдычит, то каюк. Посмотри на две вещи, одна – не другая, и так далее. Как будто сам не понимаю! Но порой не понимаю, когда на него гляжу; противоречит себе он знатно и иногда даже как-то интересно, что ли. Вот как сегодня: бритый, пахнувший, хотя еще вчера заросший слегонца, алкогольный и несчастный. А сегодня посмотрите на него – сияет, словно новую мамашку завел, или в лото выиграл. Я-то проснулся помятым. А он – щебечет воробьем в своей неизвестной манере, подмигивает, голос повышает и понижает, типа, Сашок, дело твое, но с алкоголя утром бывает вот так, чего пьешь-то, дурак, жизнь прекрасна. Точно, думаю, баба. Но когда успел?! А может, дело в работе новой – может, не показывает просто. Хрен бы с ним, короче.

Берет на понт с вином, знаю. Любит называть меня капитаном лежалого песка, но без помощника-негра, как бы защищая от чего-то; один он знает, зачем он это внезапно и невпопад говорит, хотя начинал с пьянства или с любой из своих трех тем. А понт в том, чтобы я вроде как лучше был и не делал того, чем он знаменит. Почему – уклончиво говорит, спешно как-то. Все чаще у меня чувство, что он совсем ничего не знает, что я его уже в житейском перещеголял, а он все говорит да говорит; так затынет, чтоб до тошноты. Вот странно: в бога он не верит, но в свою эту несправедливость – очень даже и безо всяких икон, вон, тетрадки марают даже, трактаты о жизни сам для себя пишет, а так же, как и я – ни черта в этой жизни не смыслит. Дурак он и в возрасте дурак, никакой книгой не перебьешь.

Эх, утро, головная боль... Мне бы наоборот взять, виски растереть, да перестать бы это все делать! Я на иголках весь от мандража и предчувствия. До конца еле досиживаю, чтобы с места не взлететь. Училка переключилась на меня, слышу:

– ...бесчестья! А этот, этот! Посмотрите на него! Морда – во, голова бритая, синяки, порезы... Бандит! И ладно бы – добрый бандит, по лесам да богатым с умыслом шлялся, так нет, уроки – не нужны ему, знаний свет – в сторону, сидеть, огрызаться, дерзить! Посмотрите, десятый «Б», внимательно на них поглядите – вот она, честь и совесть! Дожили! Нет, ну и хватает же наглости... – и все в таком духе. Не трогает ни капли.

Чешутся ли у меня руки? Нет, пустая идиома, ни у кого никогда они не чешутся, дело просто в том, что я ужасно хочу даже не мести за Казака, а просто – драки, хорошей драки, крови чужой и своей, чтобы бить и забываться. Чтобы пацаны были рядом, а я их вел. Да уж, ну и сентябрьское утро, ну и болезненный похмельный день; но я вижу, как напрягаются руки да кулаки сжимаются у Славяна, моего школьного товарища и по совместительству главного после меня в нашей компашке. И пока я вижу – ну че, хорошо. Повоюем, выходит, славно.

Ушел в себя; не понимаю я такой работы, не привыкший к такому я. Нет цельности в ней, одна суета, звонки, автонаборы эти. Фрагментарность фрагментарностью; тошнота от этого

заполняет каждую клеточку, (не), говорю одно что по телефону, что новоиспеченным коллегам, а в мыслях иное вовсе, (со), смотрю и через силу улыбаюсь, пытаюсь казаться спокойным внешне, (вер), и, вот же дело – дело в любом человеке, кто бы что не любил или не ненавидел, (шен), просто иногда разное любитесь разными, ну а я, собственно, (ство), люблю разве что Сашка – да и то, скорее какой-то грустной любовью утраты, а не любовью обладания. Мерзкое знание, потому что истинное. Да и что там далеко ходить, взять хотя бы тут и сейчас: тупо уставился в телефон, смотрю на крутящуюся штуку на экране, вроде олицетворения соединения. Пройдет секунд пять или шесть, и новый голос, новая злость на меня, хотя что на меня злиться – такой же я, невиновный, работать вот пытаюсь... И мерзко от этого вдвойне. Взять вон стоянку какую или работы по укладке, какую я в бригаде своей старой выполнял: там и людей-то почти нет, материалы одни. Не скажут тебе гадостей материалы, в жопу не пошлют. Не будут они ассоциировать тебя со своими грехами, со своей несовершенностью... не станут прерывать твоих мыслей о любви и ее значении. Молчаливые они, прекрасные. Знай себе таскай и укладывай, разглаживай профнастил, с мужиками словами перебрасывайся, охраняй, на худой конец, кроссворд тебе, сигарета. А тут – отпрашиваться даже для покурить надо. Не по мне это, чую; мерзко, как же неправильно и неискреннее, аж дух воротит! Нехорошо. Несовершенно.

И это – волны в океане, телевизорные волны цифрового пространства, а иногда еще это тянут по телефонным сетям, и все это льется прямо на меня, водопадом лжи и боли, и ладно бы еще равномерно заливало темечко, так нет, ушатом ледянящей, несовершенной жидкости. И это проникает в самый череп и там набухает, и внезапно бац, и ты в свои сорок внезапно болен и ждешь метафоричных молодок в черном нижнем белье – санитаров твоего градусного помешательства. Я здесь всего полдня, боги, полдня, и уже с головой в их проблемах, в их «удобно-неудобно разговаривать», в их «откуда у вас этот номер», в их «ты че, собака»; это оставляет во мне след, рану, пустоту среди пустоты иного порядка. Это – внутри меня. Набухает – хорошее слово, корректное. Постепенно, по чуть-чуть. Внутри набухает гнойником и прорывается неожиданно воспоминанием: запоздалое движение по голове Сашка, чтобы взъерошить черные волосы, а их нет, год уже как коротко брит. И вместо улыбки уже три года как камень. И это внезапно прорвано, моя достоевщина, мой неожиданный и закономерный надрыв. Запоздалая идея любви. Не та работа, не тот ребенок; не та, кажется, жизнь.

Но глядя в монитор и не видя монитора (какое интересное слово), я вижу то, ради чего и за мою душу велась игра свыше. Бывали моменты, когда казалось, будто бы остановленное мгновение – сейчас, теперь; день, когда я притащил дребезжащий велосипед, и ему было плевать, откуда он, и он такой маленький, и ножки немного болтаются, да еще и с первых секунд разбитая коленка, и папа, догоняй, и первая кровь на моей руке, вытирающая или размазывающая алоэ по ноге и как он плакал горько, обнимая за шею. Мы были в те редкие моменты семьей, когда он смотрел на меня ее глазами, а я пытался не вспоминать про дверь. Но она хлопала громче коленки об асфальт. И все отступало – вся эта никчемная, бесполезная жизнь. И это было почти совершенно! Но так недолговечно, ведь потом был вечер, приходила какая-нибудь Света или Аня, они трепали его по щекам, а я прогонял его привычным – Сань, почи-тай-ка, порисуй. Пап, а пап. Какая ты... а, что? Папа, поговори со мной. Ну чего тебе. Ты меня не любишь. Ну конечно люблю. Где наша мама. Со скрипом сердца – вот, Саша, познаться, вот наша мама. А он словно чувствовал – не мама, кричал и сразу начинал плакать, это не мама. Нет, мама. Не мама, не мама, не мама! И круг замыкается. И пауза длиною в вечность, черная полоса забвения в десятилетие. И я, внезапно захотевший провести, как раньше, по шелковым черным волосам – царапание и скрежет жесткой щетины по руке, но сильнее – царапание яростных глаз. Ненавидим ли я? А если да, то кем больше – Сашком, собой ли, божественным ли моим проклятием, мгновением, что остановилось, да не то мгновение, не то, не та хлопнувшая дверь?

И в мониторах (ну и слово!) – загадочные кружения, бессюжетный книжный знак, туннель в пучину воспоминаний. Сны наяву, различающиеся степенью реальности. Как сегодня – великое напряжение, великий от него исход; коллектив благоволит семейным, семейный – это значит надежный, опорный, мудрый и заботящийся о будущем, вот оно какое общественное мнение, чуждое мне, противное. Напряжение нарастает за спиной, чувствую кожей еле ощутимые вибрации. Новый человек, поглядим, испытаем – так, наверное, думают. И по всему выходит, что точка соприкосновения есть – ну, дети, да только я не верю в это. Во все это. В доброжелательность и благодушие – тут больше равнодушных, чем среди убийц со спущенными курками; потому что мы люди, старые люди среди этих блестящих мониторов, натянутых улыбок, непонятных заимствованных слов. Так что глядят они на меня, чувствую. Словно бы знают кто я, да зачем я. Словно бы я слишком громко подумал – а им только повод дай, чтобы подслушать да подсмотреть, как я пьяно бил его наотмашь, когда он не хотел читать или потому что он – это он, боги, как же это больно, как же это... честно, без всяких приукрас.

Напрягаю глаза – вижу уставшее лицо, что должно быть моим. Не то, что в молодости – веселое, беззаботное лицо; та отличительная черта, что должна быть его отличительной чертой, но вместо нее вместившая в самое себя маску, гримасу, внешнее отражение моего внутреннего, болезненного. И я не могу сосредоточиться на этих треклятых звонках, большую часть из которых скидывают. Не могу и всё тут. Набухло, прорвалось: он маленький и одновременно взрослее меня. Даже умнее – читал вон сколько, у него в голове и про течения, и латиноамериканско-прекрасное, и цитаты Гейне, и это только литературные его знания (пусть и насильные), а еще и предпочтения, да и житейский опыт, да и деньгами распорядиться в свои шестнадцать умеет, не то что я, да и вообще знает, что, зачем и почему.

Я так сожалею иногда, но чаще это чувство другого порядка: страх. Не мести, нет, я приму каждый удар, каждое обвинение, каждый выкрик – сердце слабое, но с этим справится. Я боюсь его ухода – неизбежного, окончательного ухода куда-то еще, к чему-то еще; знаю, хлопнет дверь. И тогда я сдамся. Не будет этой борьбы, этой тщеты, этих попыток – я попросту усну и больше не захочу просыпаться, открывать свои стариковские глаза. Я поддамся несовершенству, которое Сашок называет «жизнью», но чаще – «житухой». Ведь все прекрасное перестанет таковым быть. Даже серое, кажется, посереет еще больше.

Но это не сейчас – потом, однажды. Пока что – монитор; щелчок, соединение. Путая фразы, бормочу в микрофон, присобаченный к наушникам:

– Меня зовут Николай. Здравствуйте. Ой, то есть удобно вам говорить или нет? Я, это, представляю компанию...

Я не знаю, как любви, погибшей во мне, противостоять тому, что он называет «житухой».

– Справа! – истошно кричал Славик, зажимая разбитый рот. – Справа, Саня, бей сук, бей, дави!

Кто-то кричал, кто-то выл зверем. Мои кулаки обмякли, а из разбитых костяшек сочилась кровь, в боку колело, на животе был запечатлен пыльный след ботинка. Мы в меньшинстве, Казак так было подрывался, но я сказал: «Дома будь, нечего». Их, конечно, ненамного больше, но пришли они лучше подготовленными – кто с доской, кто с зажигалкой в руке, у одного был кастет, а главный мой враг, Туз, ножичек свой прихватил трофейный. На районе слышно, чуть не завалил кого-то за этот нож, отобрал да почикал – не из местных, не из знакомых. Не люблю этот нож, паршивый он, хоть и маленький, с ладонь всего. Удобный он, баттон называется, что ли; такой одной рукой выхватывается, и коль фиксатор снят, на кнопку нажимается без труда. Полсекунды – и он в руке, а рука-то замахивается уже, успевай отпрыгивать, уворачиваться или подставлять чего не так жалко – мягкие ткани рук, авось в сгиб

локтя попадет – бывало уже такое, бывал. Нож только у него – остальные его пацаны боятся, что ли, мало ли, убьют еще. А этот беспределит – вожак, да и трофей, как-никак. У, падла! В ходе драки его выхватил, Тумблера по руке полоснул, кидаться стал, в корпус метил, ну, это пока не выбили, Слепач навалился. Сдурковал; надо было ножичек хватать – и в карман, поглядел бы я на Туза, на морду его вытянутую. Но в кусты он улетел, да и жарко, некогда лезть за ним. Война – не место для валяжности; зазевался – прилетело, на землю летишь, на пацанов надеешься, чтобы шакалы вчетвером добивать не стали. А шакалам дай только волю – налетят, из строя выведут, попереломают всего. А это кому нужно? Не мне. И так трудно – их на два человека больше. Да и подготовленные они, зверины, лучше; хотя Слава верным слову остался, железяк наточил, кроссовки с подошвой прорезиненной, бинт на руки, зажигалки выдохшиеся в кулаки. Пустые карманы, раздетые, чтобы схватить не за что было, воюющие.

Бью наотмашь, попадаю Пете Шугаеву в скулу, кулак – средоточие боли. Завертелся по инерции, вправо стал заваливаться, он – навзничь. Подлетел кто-то, ногой втаптывает; хорошо. Слышу – воют пацаны, и мои, и тузовские, а боковым зрением вижу месиво, черную массу тел и кровоподтеков. Мат – перемат. Не кричу им, голос сорвал, хриплю что-то, поднимаясь. Шатает страшно, в голову хорошо прилетело, но не сотряс, вряд ли, возможно микро – но не об этом же сейчас думать? Тут не думать надо, тут бить. Мои же не думают, а тузовских продавить пытаются, к стене их гонят, к липам, чтобы затерялись они среди них, кустов не заметили, замешкались. А тузовские и не видят, вроде, часть давится, отступает, чтобы с ног работать. Ну, Туз, ну, шакал! Понабрал себе компанию – борцы, самбисты, один смешанник, да один каратист, ногами махать пытаются, для этого теснота не подходит, нужен размах, пространство. Вот и давим, как давно порешали, на берегу, затянувшаяся-то война, все между собой знакомые, все повадки друг друга изучили. Вот Туз, например, правша, с левой начинает легко, но быстро, на дурака, попадет-не попадет, чтобы обрушить сразу правый прямой, или боковой – на отходах. Но руку он держит плохо, рука у него правая ниже челюсти, она для удара, а не для защиты; сам это прекрасно знает, один кросс слева, и все, отдыхает Туз. Потому он всегда дерется сам слева, а справа у него его охранник, Диман Сечин или Ваха, чтобы не подобраться, не выключить. От нокаута не спасут, конечно, но помешать помешают. А Ваха, например, толкать пяткой любит, отбрасывать, ростом он маленький, руки не тянутся. Ваху Шендерь кроет – смешанник, и партер, и стойка, опасный самый, безумный. В смешку из самбо перешел, раньше как не подойдет чуть ближе – то все, бросок, а земля да сила притяжения опасней, чем руки его. Но он в последнее время не бросает, а полюбил с головой бросаться, молотить и душить; заметил, что мы его издалека кроем и в основном прямыми, а он рывок вперед, и будто кровь хочет всю выпустить – и нужно ждать момента, за Ваху заходить...

А все это в теории хорошо – а на практике хер упомнишь. Тем более, ландшафт, погодные условия. Настроение пацанов моих, да их подготовка, они-то, поди, тоже в своем логове работают над этим, наши слабости изучают, тактика, все к одному. Да еще плюс у них, у тузовских, в количестве стилей – учат друг друга всякому; многие бывшие боксеры стали ногами махать, да так внезапно, что пару раз мы были биты особенно жестоко, не ожидали. Так что тактика – всё. И мы ее применить пытаемся, к кустам их откинуть да замолоть, только не хотят они чего-то, в кучу лезут, ломают ряд да формацию. Достается всем, не будет целых к концу замеса. Все уйдут или уползут, разбитые. Ну, шакалы, Казака так вывести... вчетвером, на одного. Это, кажется, придает мне сил. Кулак – средоточие боли из-за скулы Шугаева; на минуту забываю – и вперед, в рукопашную, оглядываюсь – не выпало ли маленькой какой железяки у кого из руки, да даже и зажигалки...

Бьемся бесконечность – уже целых две минуты; у многих дыхалки сбиты, кто-то уже выведен из строя. Делаю два шага, и кто-то вырастает, Славик это, хрипит, но стоит почти прямо, меня не видя, за бок держится. Враги – на два шага назад, хрипят, раненых отта-

щили. Стоим друг на друга и смотрим, отдышаться пытаемся. Замечаю – до кустов шага два, не больше...

Леше Сизову располосовали ударами щеки, они разошлись изнутри, разодравшись о его же зубы. Скулит он яростно, сказать что-то хочет, кровь выплевывает, еле стоит на двух своих, но стоит же, в деле. Брат его рядом, поддерживает за плечо. Тумблер держится за ребра, полусогнувшись, да и рука кровоточит. Более-менее Слепач только – ну, он калач тертый, к битью привык, все стерпит, да в ответ всадит. Стоит прямо, ухмыляется, рад драке – поотвык-то за месяцы следствия. Его же били, признания хотели, а он поди сам бить хотел, и вот она, сладкая возможность. Самый среди нас опасный, самый рослый, с огромными кулаками, прилетающими куда надо. Но тоже дышит тяжело, всех не вывезет. Остро сейчас ощущается нехватка Казака, шакалы знали, кого вывести – он балабол, но прикрывает хорошо, откидывает, сам не кидается. Убери такого – и будто бы двух по бокам нет. А ведь рвался; да хотя куда ему, хромящему... бит был бы сильнее утреннего.

Но это не избиение, а драка. Вон тузовские – такие же. Гена Толкер на земле, без сознания. Василёк – на земле сидит и дышит, дышит, никак надышаться не может, в небо смотрит. Остальные лучше, но кровь-то у всех. Рассечения, гематомы, ушибы. Передохнуть нам всем надо. Встречаюсь глазами с Тузом, кричу, а воздуха не хватает:

– Вы за Казака, за Казака, шакалы... – жадно вдыхаю. – четверо, мы не спустим. Слышь, Туз? Не забудем.

– Да ты и не вспомнишь через минуту, слышь, – он тихо говорит своим крикливым голосом, воздуха ему так же не хватает. Ножик вертит, принес кто-то, а мы и не заметили. – мы только начали, отдышаться дай. Конеч вам, молитвы вспоминай, Саша, и пацанам своим скажи.

Оглядываюсь, двенадцать глаз на меня глядят. Некоторые – заплывшие, полужакрытые. Примут всё, чего скажу. Согласятся. Это придает силы.

– Ну так докажи, че, – говорю я, массируя плечо. – не мели, а доказывай слова свои.

– Ща, ща. Не уйдете никуда. – он шумно сплевывает кровь, утирает губы. – Дай дух перевести.

Улыбаюсь, к своим поворачиваюсь:

– Видали? Отдохнуть ему надо. Да постели себе, полежи, Тузыра, – громко говорю, ребра ноют. – а мы пока без тебя начнем, хорошо?

Гул веселья, подбитого, разбитого веселья. Шум в головах, рассечения, ссадины...

Кто в майке был из моих, тому ее выкидывать – кровоподтеки, пыль, дырки, славиковская на земле затоптана давно. Красная кожа, порванные кроссовки, рассеченные брови, разбитые руки. Наша правота, их неправота. Казак... ну и дело; утро должно было быть другим, к отцу подсобником, целый день подавать да смотреть, а тут это – и отцу его придется много тяжелее, четыре руки всяко лучше двух. А Казак дома – тяжело и, возможно, с последствиями, хоть и курил бодро, и в бой рвался. Не так все должно было быть, не так... они, твари, вынудили. Первые напали, не как обычно. Обычно мы каждый месяц в одном и том же месте – и все по-честному, по правильному, восемь на восемь...

А сегодня Туз неправ особенно. Тем важнее разбить его на голову, почувствовать этот перевес, когда он теряет сознание, чтобы не вставать на колени, почувствовать вкус победы на соленых от крови губах. Или пепел поражения – так как-то. До последнего стоящего, без глумления и унижения, честная драка, хорошая, один этап войны. Но он все сломал, все нарушил; сегодня можно переступить запреты и отомстить, как не мстили до этого – за унижение, болезненное, когда двое или трое на одного.

– Туз, – обращаюсь я. Чувствую: скоро уже опять начнется. Яростно сцепимся, как псы. Знаю, чего пацанам моим нужно – смеха, высоты такой в плане атаки. Без смеха никуда. Говорю, значит. – Туз. Тряпку приготовил? Ты готовь. Вон, с пацанов своих че поснимай. Мыть, сам понимаешь, надо кому-то...

Взрыв хохота, усталого, битого хохота. Хорошо мне скалиться, ему как обычно морду перекосило. Сзади присвистывание, его лицо – оскал почти, беситься, сожалеет. Не повезло ему на улице быть Тузовым – сразу же Тузом стал. А как постарше, так и терминологию подсказали, блатняком повеяло, и все, и повод для смеха. Но он, как и я, несмотря ни на что. Своих за это бил, стоило заржать кому. И мы его этим задеваем постоянно, а я должен во главе быть, орать это в лицо ему. Ну, я и ору. Зубы стиснуты, губы тонкие сжаты, напрягся Туз. Но не кидается. Ждет. Запоздало понимаю – дал время подумать, не дождал, не добил; чувствую, что следом прозвучит...

– Я-то, Саша, помою. – с ненавистью он выдыхает. – А ты бы лучше домой пошел, пока больно не стало. Слышал, а? Домой. – на последних словах я перестаю дышать, не чувствую руки Славика на плече. Не чувствую, как бросаюсь на него, смотря на его лицо. Не вижу, ничего, кроме его губ, произносящих самое болезненное, самое острое. – Домой, Саша. К маме. Давай, беги. К маме, к мамочке беги...

На улице тайн – ни одной нет. Зацепил, вывел. Олимпийский бросок. Бью наотмашь, валюсь сверху на него, не вижу, не знаю, начинают ли вновь опять сражаться за меня, за Казака, за нас – пацанов, за гайсановских... не знаю, только его лицо, его ненавистное лицо. Не имеет значения все эти почему и зачем, что, где и когда. Неважно. Меня откидывают, я на земле, ошалело оглядываюсь. Деремся новую бесконечность: Тумблер кричит во всю глотку, сжимая ребра, у Слепача в боку застрял нож. Не успеваю отпрыгнуть, откатиться – доской мне разбивают колено, боль пронзительна, до самой души. Летят кулаки – миллионы кулаков. Крики, что смешиваются в вой. Я бросаюсь кому-то в ноги, повалить, в куст, пацаны накинута, знаю... победим! Пока что – маленький бросок в чьи-то ноги, надеюсь, что это не свой. Собираюсь с силами; прыжок, захват, удар о землю. Где-то рядом под подошвами вздымается земля. Минуту или же тысячелетия не происходит ничего: удары, ругань, свист, стук капель о асфальт и разбитые головы.

3

Две недели безрезультата. Хорошее слово – «безрезультат», использовать бы где его. И ведь нигде раньше не встречалось, ни в одной книжке или статье; термин, хорошенько описывающий все вместе, целиком. Устал за неделю, домой приходишь, хочешь отдохнуть и понимаешь – вот он кругом, твой безрезультат существования. Одни выходные, другие, когда попросту лежишь и никуда выходить не хочется. И они кончаются, чтобы дать место новой неделе. И наступает новый день, незначительный и маленький – несовершенство, звонки, перерывы; но в целом – жизнь.

– Кофе. – многозначительно и как-то двусмысленно замечает Аркадий Алексеич, шумно отхлебывая.

– Безусловно, кофе, – отвечаю. – проспекты не вдали.

Он отмахивается, улыбается как-то заискивающе, хотя вроде начальник. Мужик вроде бы умный и понимающий, но смешной иногда, а иногда жалкий – сухая рыба в костюме, из под очков затравленные и усталые глаза человека, посвятившего себя многолетним поискам своего восьмирукого Бога, а нашедшего зачем-то офисный струйный принтер.

– Люди врут, не проспекты. Я тебя чего это отвел, Николай, – он говорит. – я же, как-никак отчитываюсь. Ты пойми, Коля, отчеты – это моя прямая обязанность, поддержание сплоченности, духа команды. Кое-кто считает, что это для молодых, нам, старикам, это уже не нужно, союзно воспитаны, но я, знаешь, иначе думаю. Точнее – приходится думать, работа такая.

Молчу, смотрю на него выжидательно. Кофе в его руке остывает.

– Мне Борисовна говорит, – продолжает. – давай-ка, Аркадий, Николая в команду вводи. Игры на сплочение и все дела, ну а я ей, мол, ничего, сам втянется, все сами и без этого. Ну а она на своем – командный дух, мол, ячейка ради общества, цитату мне мотивирующую. Нет, баба она неплохая да понимающая, но занудная, вся в этих тенденциях. Так вот, – придвинулся он ближе, пока кофе все остывал. – она мне и говорит, либо вводи в команду, либо отчет пиши. А это, сам понимаешь...

– Что за отчет? – непринужденно спрашиваю. В голове всё не о том, не про отчеты, не про звонки. Другое в голове.

– Ну, – замялся Алексеич. – такой, в общем. НКВДшный почти, считай – донос. Там нужно написать мне, что ты от сплочения отказался и командный дух поддерживать отказался тоже.

– Так где я и где дух-то. Да и не отказывался я, вы разве спрашивали, – полувопросительно заметил я. – не могу с ними просто сойтись чего-то, да и все. Да и надо оно разве?

– Это-то понятно, Николай, это-то понятно. – заторопился он. – Но я, знаешь, на окладе. И написать, если не выйдет у нас понимания, обязан. Или ты становись ячейкой общества, или я ей перестану, понимаешь? Да, – округляет он глаза. – тут все вот так. Уволить она меня давно зачем-то хочет, не так, мол, не эдак. А мне бы не хотелось. – На мгновение замолк и грустно повторил, рассеянно как-то. – Не хотелось бы, да.

Я почесал затылок и задумчиво посмотрел на его остывающий кофе. Тоже внезапно захотелось этого поила.

– Если короче, Аркадий Алексеич, – начал я. – от меня что требуется? Как это тут, ячейки, команды? По-русски если?

Он на мгновение задумался и начал выдавать толковое определение из словаря. Смешной... Кончив, он слегка просиял, уставившись на меня, не поняв, кажется, что ни слова я не разобрал; даже, честно говоря, не пытался...

– Еще более по-русски?

– Николай... Скажешь тоже, – в этот раз он думал дольше. – по-русски... это, в общем, общаться тебе нужно. Точно, общаться! – обрадовался он своей точной формулировке. – Ну там, курить со всеми вместе, например, а ты в одного ходишь. Как дела спрашивать, про домашние дела интересоваться, и на вопросы отвечать змеям нашим. Спрашивать как звонить нужно, а как – нет, любят они это, важничать начинают и краской заливаются.

– Так в тетрадке же все есть. – сказал я. Разговор этот определенно меня забавлял, а пошло – обжигало. Кофе я раньше не сказать чтобы любил, ну а теперь, выходило, что делал к этому первые шаги – статус, да и кофемашину рассмотреть можно; импортная, дорогая. Неприкрученная.

– Тут дело в коллективе, понимаешь, – развел он руками. – ну и в отчетах, разумеется! Система премий и штрафов, все на моих отчетах держится, все читается и изучается. Я же, как-никак...

– Аркадь Алексеич, – перебил я. – Вы меня, конечно, извините, но я человек в этой сфере новый. Да и в офисе – тоже. Трудно это, когда приходишь в сплоченный коллектив и сразу же...

– Конечно, – перебил уже он меня. Сделал шаг, в глаза смотрит. – Вас и никто. И никак. Просто – пожелание, командный дух, а то отчеты, Николай, ну пойми ты по-человечески. Необходимо.

«Необходимость, продиктованная глупостью» – подумалось мне и я с трудом подавил улыбку.

– Так что давай-ка начинай, а то две недели уже, а все жалуются, – заключил он с сияющей почему-то улыбкой.

– Кто-то жалуется?

Он почесал нос и выдал, кажется, самую потаенную из своих мыслей.

– Да змеи наши. Все. Николай... Им волю дай, не посмотрят, что мужик ты хороший вроде, умный, только и заметят, что нелюдимый. И темы что подхватываешь неохотно. Что опаздываешь немного. Ты бы это, поменял что-ли в себе что-то, ну или в отношении. – С сожалением в голосе он чуть ли не прошептал. – Борисовна, правду сказать, рвет и мечет. Бабы к ней на доклад ну прямо зачастили. А мне – сам понимаешь, трибуналами грозит да расправами. Уволю, мол, Аркадий, и не замечу.

– Понимаю. – ответил я и попытался натужно улыбнуться. – Спасибо за совет, Аркадий Алексеич. Подводить не станем...

– Ты не это, – полушепотом продолжал он, не желая, чтобы нас подслушали. Никто не слушает, все звонят, работают, нас не замечают. – не надо. Я – горой за тебя, если придется, но отчет, сам понимаешь, обязанность. Ты попробуй, хорошо? А я за старания все напишу так красиво, преувеличивать – не врать, Коля... Мне вон тоже тяжело было – первым мужиком в конторе был...

– Обещаю. – заверил я его. – Начинаю немедленно.

– Спасибо, – произнес большой и властный начальник, незаметно схватив мою руку и трясая ее, трясая. – отчеты эти, понимаешь... тот еще труд, изложи, да выложи. Я лучше буду это, координировать. Руководить. Собачье дело – а куда деваться-то...

Я кивнул, он кивнул, холодный кофе начальства унесся прочь. Вздохнув и еле заметно качнув головой, я тотчас принялся выполнять поручение Алексеича. Сев на стул рядом с Митрохиной, я завел с ней ни к чему не обязывающий разговор, ужасно ее смутив, отвлекая от разговора с потенциальным покупателем. Мои эпитеты разрывали ее график. Мои вопросы ставили ее в тупик. Думал я, разумеется, только об одном – даже мысль о наживе на этой конторе отошла куда-то на задний план; никуда это не денется, не убежит. Другое в голове, как и всегда; бьется, бьется, надрывается...

Недели две назад пришел как обычно – разбитое лицо, хромает. Я приоткрываю дверь после работы, скриплю ей и вижу – незажившая голова, порванные штаны, как он ковыляет

в свою комнату, не поднимая глаз, не говоря ни слова. И в такие моменты рвется земля и все сущее рвется тоже. Пласты всякие в голове, категории всякие нахлестываются, горькое – ядом под язык, ну а сердце холодит а не обжигает. Все это, боги, все это... Когда видишь такое, сложно думать о чем-то еще. Когда он мимо ковыляет и руку с плеча сбрасывает, ищешь давным-давно найденные первопричины и следствия. И не хочется ничего – абсолютно. Хочется забыться, потому что «вспомниться» – не получится ни за что.

В итоге, в самом итоговом итоге, я, как дурак, остаюсь один посреди своей выдавшей виды кухни. Между прошлым и настоящим, отказавшийся от будущего. Его мать, которой я никогда не знал, Инга, ушедшая и боги бы с ней, да что-то не то в груди, ну и, собственно, он. Сашок Гайсанов, маленький человек, который не является ни мной, ни своей матерью. Не является он чем-то от нас лучшим или худшим; генетические особенности делают его другим, особенным, несхожим со всем этим происходящим, нечестным... Он – чужак. Посторонний в своей импровизированной клетке-улице и клетке-районе. В этой квартире, в своих увлечениях, во мне, моих словах, во всем этом... среди этой несовершенности, которая у него звучит дерзко, ненавистно, называется «жизнь-житухой». Он дальше, чем соседские дети. Дальше, чем кто бы то ни был, находясь прямо рядом, за стенкой, воспитанный, начитанный Сашок, который... да, который.

Чужак, у которого я спрашиваю из-за двери, захлопнувшейся у меня перед носом:

– Что с твоим лицом? Ты опять дрался? Саня, открой, ну, поговорим. – С усилием выдавливаю. – Ты же не должен, не обязан. Выходи, Сань. Расскажи мне, что опять случилось. Ты не сиди там, не поможет...

Ни слова в ответ. Знаю я, как это будет, скажет, что упал несколько раз сам, оступившись – не признается, гордый, в дела не посвящает. Я не знаю, как давно во рту его нет зуба. Я вижу это – следы от костяшек на лице, чужом лице, ее лице, лучшей красоты ее лица. Он словно бы тоже видит это или чувствует, потому и не заботится, уничтожает в себе это. Не только ее красоту, а вообще любую, в словах, в себе, в своем маленьком устройстве. Делает так, что от красивого мальчика не осталось ничего, одно первобытное, звериное, злое – отпечаток этой нечестной и несправедливой жизни, без поиска виноватых, без поиска жертв. Дверь закрыта; я стоял пару недель назад у нее как дурак, был сентябрьский вечер. Он вышел к похолодевшему ужину, быстро ел, незаметно ушел и пришел ночью. И это – не новшество; это чертова закономерность...

Вот он приходит ночью, разговор ни о чем, я – пьян, да и он тоже. Равнодушная фраза:

– А проснешься завтра? На работу же.

И мое нахмуренное:

– Проснусь.

И – вновь наступающее одиночество, которого я не заслужил. Тяжелый возраст, что у одного, что у другого. А у меня еще – мать его да Инга, так внезапно исчезнувшая, хотя, казалось бы... теперь даже немного грустно, немного не по себе. Работа ради работы, жизнь ради жизни. Алкоголь развязывает ему язык – и это плохой разговор, тяжелый. Он утверждает, я оспариваю, и все это, все это... Все это и теперь в голове, когда я откровенно мешаю Митрохиной работать ради некоего абсолюта, фантастического «сплочения», торжества идей капитализма, используемого глупыми людьми во вред рабочему процессу. Это даже не в голове, разговор вроде того, а в клетках моих и жидкостях. В каждом нейроне, способном давать импульс, способном двигать меня дальше, но почему-то всегда и так неотвратимо возвращающему меня к былому: к дверям, фразам, оскорблениям, которыми я сам себя повязал своей молодостью и наивностью; боги...

Ты опять пьян, папа, тебе же на работу, говорит Сашок. Не нравится, спрашиваю, и он просто пожимает плечами, награждает безразличностью за мои переживания, за все свои переживания, да еще и Инга проклятая опять вспомнилась, да еще и в моем возрасте, трудно быть

одному, Сашка, понимаешь, в моем-то возрасте, тебя дома никогда нет. Ты не про меня, а про мамашек, подразумеваешь их, надоело. И этот разговор неизменен, склоки, синяки, безразличие, новые «мамашки», и боль, и и покачивание, и я зайду попозже, и хочу выдавить «сын», но не выдавливаю, он сказал однажды – по имени, вот и зову по имени, а эту терминологию уберем, оставим. И я закрываю дверь, желая остаться там. И вновь ее на мгновение приоткрываю, надеясь, что мой Сашок, тот, кто не выстриг еще свои волосы, что приятно было изредка лохматить, что он там и ждет ладоней, а не темноты, чтобы забыться. Но дверь закрывается ни с чем. Часы бьют начало первого, я бью стаканом о зубы, снова день и проклятый коллектив, проклятое сплочение. Скоро первая зарплата и я куплю ему новые джинсы взамен этих, которые порваны, на них следы от пыли, а в коленях деревянные занозы, и он хромает, Саша, Саша... Голова тяжела, и она падает на ладонь, ну а утром, конечно, розовые полосы и шум твоей вилки о тарелку, независимость, и приходится самому готовить себе завтрак, чтобы отметить в календаре новый сентябрьский день.

Немудрено, что мешая Митрохиной, я в большей степени мешаю себе.

Две недели заживления ран. Болезненные две недели, но по-своему радостные – показали Тузу, что мы за своих не спускаем вот так. Да чего и говорить – лицо Казака всё сказало, нахмуренное, сосредоточенное лицо. Не благодарил, да нам и не надо было. Знали, за чего бьемся. Да и он понял, за что бились. Все как всегда. Нормально. Что-то беспокоит по-маленькому, но не так, чтобы сильно. Жив и жив, маленькие заботы, ежедневные вещи: зубы чищу, отжимаюсь и два подхода по мешку, завтракаю, бегаю, в животе тяжело и ноге после крайней стычки больно, но бегаю по утрам, несмотря ни на что, не берегу себя даже для турника, что идет следом. Потом – короткий душ, и учеба. В школу хожу зачем-то, хотя мог бы, как Казак, не ходить, папка бы против не был. Но чего тогда по утрам делать – не знаю. Школа на то и школа, досуг какой-никакой. Папка мягко намекает, мол, подтягивай физику и в университет. Инженером, Саня, будешь, или архитектором, в детстве рисовать любил же. А я не любил. Просто рисование – это на какое-то время, что-то делать, пока он мамашке случайной на уши шепчет и вином ее поит. Ну а Саня – рисуй, товарищ, вот тебе советская художественная энциклопедия. Подтягивай, мол, физику, становись инженером.

Но это один день. Другой – вообще все не так. То мне сегодня нужно приносить оценки, то мне нужно получать знания, наплевав на оценки, то жить на всю катушку, то нужно хорошо зарабатывать, то пуститься галопом по странам, ну и это – впечатления получать. Одного только папка не говорит – а зачем. Да и он, наверное, ни черта не знает, да и никто, в общем-то тоже, но все занимаются чем-то, вот, собственно, и я. Школьничаю в своем бессмыслии.

Зачем – вопрос что надо, как ни бились, не знаем, как на него ответить правильно. Даже и не знаю, нужно ли вообще на него отвечать, пытаться отвечать как-то, кроме «затем». К таким вопросам приходили, ну, многие, и все ни с чем оставались – порожняковая затея, ну, пытаться понять, ради чего все. Умные люди с ума сходили, понять пытаюсь, очень умные или с богатым там жизненным опытом, или со знаниями необходимыми, примеров таких – плацкартный вагон. В определенный момент в зеркало смотрели, морды терли и спрашивали, собственно, кризисом называется. Как будто слышу это их: «А зачем? Для чего?» – и молчание в ответ, тишина. Че удивляться-то, все люди, все об этом думают, когда становится либо нехорошо, либо очень плохо, устроены все так. С хорошей жизни-то так не подумаешь, небось. Но я живу нормально: маленькие заботы, маленькие проблемы. Все как всегда.

А так разобраться, прям даже иногда интересно становится. Ведь все, и папка, и пацаны мои, и их родители, и учителя, и просто прохожие, все, короче, несчастны, наверное, каждый хочет свою жизнь того, да причем кардинально, ничего не делая для этого. Все всегда чем-

то недовольны, маленькими или здоровенными вещами. Ну а вот, например, я, я-то чего? Я, кажется, по-другому как-то сделан; вопросы такие задаю, только вот просто, без раскаяния, без сожаления, рабочий вопрос. Служебный, во. Спрошу, да и не замечу, да и дальше жить буду, ничто меня не трогает, все перетерпится; Саня Гайсанов – несмотря ни на что... Это, типа, плавания по течению. Философии целые есть, изучающие такие вещи – зачем, а почему, а ради чего, а в чем смысл и все такое. Даже читать пытался, но не понял. Так что за всех говорить не буду, за себя только можно – я вот например такой, какой есть, задаю вопросы, но не задумываюсь, новую жизнь с понедельников не начинаю. А хорошо это или плохо, рассудит время. Да и то, не факт, смотря в какой трактовке изложить, чьими словами. Рассудит улица и слова пацанов – так уже лучше. Хотя бы определенность какая, не облака сачками ловить.

Отголоски битвы на теле, на лице, побитая морда, тяжелый фиолетовый отпечаток ноги на пузе. Два дня ковыляния, приползания, побитого торжества; голос Славяна – тихий, уставший голос на берегу реки:

– Выстояли. Даже продавить смогли... Да, Сань?

– Да. – сказал, глядя в их лица, бледные, уставшие. – Бойцы мы чего надо, не прогнулись, не сбежали. Долго слава греметь будет...

Казак бы сказал, что и Слава долго греметь будет, доставая свое знаменитое вино. Но не сказал, не до этого – потери тоже колоссальны. Понимаем, что Туз опять черту перешел – знал, сука, кого бить... в Слепача зарядил. Зашили Слепача. В больничке валяется. С него теперь вообще не слезут: то фигурантом дела был, теперь эта рана... но он не сдаст никого; знаю не понаслышке, проходили, отстрадался. Тумблеру ребра отбили, трещин небось штук пять или шесть. Леша Сизов молчит теперь, сам пришел в хирургию лицевую и на бумажке написал: «не сообщайте никому крышка будет» – сам там был, сам эту бумажку видел. Казак, у которого пол-лица не видать. Славик с вывихнутой кистью. Все мы, покалеченные, но за дело бились, так что правые, невиновные...

Тузовские такие же; не видно их на улице, не слышно за них ни слова, потерялись они, в логове своем засели, шакалы. На руку и им, и нам, мы тоже у себя, глаза им не мозолим. Две недели уже как. Кто раньше одной дорогой ходил, стал другой ходить. Потому что сцепимся, знают все; вот и держим дистанцию, для нового раунда отдыхать надо...

Старшие, конечно, смеются, называют «шелупонью», пытаются шутивно ударить, интересуются, как наши войны, как наши битвы. Все они, я многих имен даже не знаю, одни клички, «пыги», позывные, эпитеты... Витя Крамар как-то присвистнул:

– Во, пацаны какие, дети еще, а уже за базар вывозят, кулаками машут. Машите-машите. Бойцы всегда стране нужны. Без бойцов стране никуда, как и без заводов. Как и без лоха какого.

Витя Крамар недавно вышел, а первую свою ходку разменял еще по юности, по несмышленности. Он живет хорошо, деньги имеет, делами занимается понятно какими. Но всерьез нас не ставит, понятиям своим не учит; достаточно Вите просто смотреть да смеяться. Может, и присматривается, планирует на нас чего-то. Но вряд ли, голова у него забита совсем иным; Витя Крамар пытается заниматься своими делами дольше тут, чем там. Там-то дел никаких, как он говорил, да и самому мне так тоже кажется. Знай, о свободе да о бабах думай. Так что пусть смеется – нам и так нормально, хорошо даже.

Но Витя Крамар для меня – никто. Его лицо для меня – чужое, ненужное, не то, которое себе хочу. Вот Славян – он да, смотрит, слушать его любит, соседи почти, мальчишкой за ним бегал, первую сигарету у него из руки взял. Я идейный, но не так. Не хочу я в колонию, как Витя, не поэтично это, папка постарался, подсовывая Шаламова да Довлатова в первый год бокса и улицы. Чувствовал чего? Да не знаю. Но отвадил хорошо, не хочется. Потому и Витю не воспринимаю. Не бьюсь за то, чтобы Вите было хорошо, чтобы он во мне видел чего; бьюсь за пацанов, потому что они во мне спичку изнутри разжигают, ну а остальное вокруг ее гасит. А раз это во мне спички жжет – значит это очень даже ради себя, а не ради Крамара. И получать

за себя приятно. И бить в ответку – тоже. Я когда вот так на берегу сижу, когда раны зализываю, когда бьюсь, то вот тогда я живой, кажись. А все остальное время я не тот Саня Гайсанов, ну, который несмотря ни на что...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.